

Международный проект «Нестор»

Санкт-Петербург — Кишинев — Париж



Партнерство во имя истории

Учредители проекта:

Санкт-Петербургский институт истории
Российской Академии наук

Высшая антропологическая школа
(Кишинев)

Центр русских исследований
Школы высших исследований социальных наук
(Париж)

Руководитель проекта
Сергей Эрлих

Издатель
Сергей Марар

Библиотека журнала «Нестор»:
Источники и исследования истории и культуры
России и Восточной Европы

Том VIII

Редакция:

П.В. Ильин, О.И. Киянская,
И.В. Лукоянов (главный редактор),
В.И. Мусаев, С.В. Яров

Редакционный совет:

Б.В. Ананьич, **Е.В. Анисимов**, **Р.Ш. Ганелин**,
Б.Ф. Егоров, **В.Н. Плешков**, **А.Н. Цамутали**
(Санкт-Петербургский институт истории РАН)

В. Берелович

(Школа высших исследований социальных наук (Париж))

Ж. Нива

(Женевский университет)

У. Розенберг

(Мичиганский университет)

Д.М. Фельдман

(Российский государственный гуманитарный университет)

Л. Хеймсон

(Колумбийский университет)

М. Хильдемайер

(Геттингенский университет)

А.М. Эткинд

(Европейский университет в Санкт-Петербурге)

Х. Ян

(Кембридж)

Р. Ш. ГАНЕЛИН

Советские историки:
о чем они говорили между собой
Страницы воспоминаний о 1940-х — 1970-х годах



Издательство
«Нестор-История»
СПБНИ РАН

Санкт-Петербург
2004

УДК 92:93/99 «1940-1979»
ББК 63г(2)

*Этой книгой издательство «Нестор-История»
совместно с Санкт-Петербургским институтом истории РАН
начинает серию воспоминаний «Настоящее прошлое».*

Р. Ш. Ганелин. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х—1970-х годах. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. — 216 с.

Рафаил Шоломович Ганелин (род. в 1926 г.) работает в Санкт-Петербургском институте истории РАН (прежде Ленинградское отделение Института истории АН СССР, Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН) с 1955 г. Занимается историей внутренней политики, общественного движения России и международных отношений преимущественно конца XIX — начала XX вв. Участник подготовки коллективных трудов и публикаций источников, осуществившихся в разные годы группами ленинградских и московских историков. Его воспоминания посвящены жизни, работе, образу мышления и поведения представителей гуманитарных профессий в СССР.

This copy is prohibited for sale outside Russia and CIS countries
The legal sale: <http://nestor-historia.org>

ISBN 5-98187-038-9

© Р. Ш. Ганелин, 2004
© Издательство СПбИИ РАН
«Нестор-История», 2004

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия.....	7
Как я созревал.....	32
На истфаке ЛГУ.....	44
Библиотечный институт.....	97
В ЛОИИ.....	109
<i>Приложение.</i>	
Воспоминания о моем отце — Ш.И. Ганелине.....	200

*Памяти моей жены
Тамары Сауловны Ганелиной,
которая понимала многое, если не все*

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Думая над тем, как с наибольшей выразительностью дать читателю XXI в. представление о жизни и работе советских историков во второй половине прошлого столетия,¹ я решил рассказать прежде всего о расхождении, которое существовало между тем, что они писали, печатали и излагали с кафедры, с одной стороны, и говорили в неофициальной обстановке — с другой. Разумеется, это относилось к представителям всех гуманитарных знаний. Е.Г. Эткинд вспоминал, как тончайший знаток Шекспира А.А. Смирнов вынужден был в монографии о нем писать о загнивании породившей его буржуазии, о разоблачении ее самим Шекспиром в «Гамлете» и доказывать, что «подлинный революционный Шекспир <...> нужен пролетариату». А дома посмеивался над обязательностью темы классовой борьбы, говоря на русско-французском волапюке: «*Sans la lutte des classes* не печатают **нас!**»²

¹ Самая мысль об этом появилась под влиянием существенной убыли среди ровесников и необходимости не откладывать дела в долгий ящик. Да и не помрешь, так позабудешь... Прошло уже лет шесть с тех пор, как инспектриса в беседе, растолковав мне содержание заявления, которое я должен был подать, спросила: «*Дедуленька, писать-то можете?*» Я ответил: «*С вашей помощью попробую*». А здесь я предоставлен самому себе...

² *Эткинд Ефим*. Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., 2001. С. 323.

В больших научных библиотеках до известной поры в существовании особого, кулуарного, устного слова можно было убедиться воочию. В ленинградской «публичке», если я не ошибаюсь, еще и в 1950-е годы сохранялись с незапамятных для меня времен две «курилки» в холлах (говоря современным языком) нижнего этажа. Хотя из обеих лестницы вели в читальные залы, казалось, что собеседники, курившие на узких диванах, а то и сидевшие на них некурящие, в залы вовсе не поднимались. И это несмотря на то, что сказанное в «курилке» могло стать известно не только тем, кому было предназначено. По рассказам моего друга В.Я. Голанта, до войны «первоприсутствующим» там был знаменитый Долмат Лутохин — человек, не ладивший ни с какой властью, вернувшийся из эмиграции, поссорившись с ее лидерами, получивший в качестве жилплощади в Ленинграде ванную комнату в бывшей барской квартире, ставшей «коммуналкой» с раковиной на кухне. Саму ванну он использовал для ночлега, набив ее тряпьем, а дни проводил в Публичной библиотеке, деля время между «курилкой» и работой над мемуарами, до сих пор, к сожалению, полностью не изданными, хранящимися в Отделе рукописей РНБ.

У некоторых обитателей курилок были общие черты с «пикейными жилетами» Ильфа и Петрова, но в целом такое уподобление было бы несправедливым.

В Фундаментальной библиотеке общественных наук в Москве, находившейся в нескольких минутах ходьбы от Кремля, на площадке перед входом в читальные залы я со второй половины 1940-х годов в течение лет двадцати наблюдал постоянный «толчок», где специалисты, занимавшиеся зарубежным миром и международными отношениями, рассказывали друг другу то, что не могли написать в своих работах. Мне неоднократно приходилось в этом убеждаться. Мало того, иногда разговор на профессиональные темы возникал и в маленькой комнате, где сидели читатели Отдела специального хранения. Его участники обычно выходили в коридор, чтобы не мешать остальным, а то и по соображениям благоразумия, тем более что их чтение по сво-

ему содержанию придавало разговору особенно свободный характер и выводило его за узкопрофессиональные рамки.³

Вообще следует признать, что соображения политического характера были не единственной причиной того, что дело подчас ограничивалось разговором: во все времена самые различные обстоятельства ведут к тому, что не все легко ложится на бумагу и становится предметом официальной речи. Например, кулуарная оценка диссертации часто отличается от официальной. С другой стороны, разговор, начатый во здравие, часто переходил на заупокойно-политические темы, подобно тому, как стал народным стул в драке из-за него отца Федора и И.М. Воробьянинова у И. Ильфа и Е. Петрова. В 1960-е годы А.И. Доватур и Д.П. Каллистов выступали в ЛОИИ против С.Я. Лурье и А.И. Зайцева с критикой диссертации В.Н. Андреева, о котором еще предстоит рассказать. В официальной ВАКовской рецензии А.Г. Бокшанина к упрекам Андрееву был добавлен в качестве неотразимого аргумента против присуждения ему степени похвальный отзыв о его работе, появившийся в итальянском журнале, разумеется, буржуазном.

Говоря о различии между тем, что историки писали и говорили по официально-служебным надобностям, и кулуарно-бытовым выражением их искренних мнений, я намеренно исключаю такой способ выражения этими людьми собственных мыслей, в том числе и сокровенных, как дневники и частная переписка. Подконтрольность переписки

³ Даже во времена самых больших строгостей в ФБОН всегда существовала благоприятная для исследователей атмосфера. В моем представлении иногда приезжавшего читателя это было связано с именами Д.Д. Иванова, К.Р. Симона, Г.Г. Кричевского, И.А. Ходош, О.В. Беликовой. В течение многих лет это учреждение возглавлял акад. В.А. Виноградов, который организовал на базе ФБОН Институт научной информации по общественным наукам в специально построенном новом здании, совместивший качества современного исследовательского учреждения с традициями академической библиотеки.

была известна и, несомненно, определяла ее характер. Иногда, как представляется, даже использовалась самими пишущими, чтобы засвидетельствовать свою лояльность к власти или ее расположение к себе, а то и снискать его. Дневниковые и иные записи вели, хранили (Ю.В. Готье, например, отправил свои за границу) не только старые историки, такие, как С.Б. Веселовский, но и представители следующих поколений (С.А. Пионтковский, С.С. Дмитриев, еще не ставший профессиональным историком А.Г. Маньков) и даже выдающаяся представительница партийного (ВКП(б)) начала в историографии А.М. Панкратова. Впрочем, число домашних записей с течением лет по понятным причинам не возрастало, как и степень их несоответствия официальной идеологии. Иногда дело сводилось к фиксации происходившего на совещаниях и заседаниях с собственными или чужими откликами на сказанное там, а то и с добавлением невысказанного. Однако и в этом случае письменный текст не обладал всеми свойствами откровенности, которые характеризовали устную речь.

По моим наблюдениям, на словах все получалось свободнее и ярче; особенно если собеседники не только имели основания доверять друг другу, но и не избегали иронического взгляда на дело.

Такой иронический взгляд мог быть истолкован как циничное отношение к предмету и действительно в какой-то мере с таким отношением соприкасался. Именно это, кажется мне теперь, было одной из причин того, что Б.А. Романов, наш учитель, неустанно воспитывая у своих учеников критическое отношение к существовавшей и выходившей литературе (это относилось и к воплощению в ней доктринального начала), демонстрировал уважение не столько к ленинизму, сколько к самому Ленину, и избегал скептических о нем рассуждений с нами. Это совмещалось у него с минимальной приспособляемостью к доктрине, умением ограничиться декларативными или косметическими уступками ей. Не только у Б.А. Романова, но и у других людей его поколения не мог не играть роли печальный опыт

ареста и ссылки — собственный и окружающих. И вообще житейская мудрость, требовавшая осмотрительности, оказалась оправданной, когда по прошествии многих лет в архивах ФСБ обнаружился донос с подробным изложением кулуарных бесед, которые вели между собой историки.

С другой стороны, мне всегда казалось, что скептицизм — как научно-методический, источниковедческий, так и общеметодологический, политический, — необходим для успешной исследовательской работы. А уж для оценки политической действительности он был жизненно важным, пожалуй, единственным, но очень эффективным средством. Нельзя при этом не отметить, что скептицизм этот был, применяя ныне распространенные термины, не только разрушительным, но и созидательным. Он способствовал возникновению общественных представлений о таких событиях и явлениях, которые власть стремилась обойти молчанием или изобразить в нужном ей виде. Догадывались мы об очень многом. Ставшие ныне известными секретные документы часто это подтверждают.

Не разноцветные бюллетени ТАСС с международной информацией, предназначавшейся для партактива различных степеней (белые — для верхов), помогали делу, а умение наблюдать, анализировать слухи, видеть сквозь землю. Старый и опытный тассовец А.Л. Зельманов, мой близкий знакомый 1960-х—1970-х годов, брал газету и читал ее со своими конъектурами, показывая то содержание газетного сообщения, которое оно могло первоначально иметь.

Нельзя, впрочем, не отметить, что и в частно-кулуарных ситуациях поведение историков, как и других граждан, часто имело официозный оттенок. Дело здесь было, как представляется, в сочетании влияния официальной идеологии с определяемой естественными человеческими склонностями тенденцией к ее восприятию. Напомню два соображения глубокого и яркого современного автора Самуила Лурье (газета «Дело», № 32 (291), 25 авг. 2003). Первое: «Пресловутое тогдашнее двоемыслие было ведь не двоедушие, а всего лишь недомыслие: дефект мышления, вскормленного ложью». В го-

рое, как мне кажется, не совсем соответствующее первому: «Молчать или врать — третьего не дано».⁴

В профессионально-производственной сфере дело обстояло значительно сложнее. Историки писали и печатались. Приспособленчество всегда считалось дурным качеством, но приспособливаться было необходимо, если уж Вы стали профессиональным историком (так говорил Б.А. Романов). Профессионализм в наших условиях стал включать в себя не только особую, кроме вообще необходимой, осматрительность и житейски полезную уклончивость, но и ряд других навыков и умений. Среди них весьма важным было умение предвидеть движение начальственной мысли, часто четко не выражавшейся, вероятно намеренно. Е.В. Тарле, по слу-

⁴ Не получившие такой жизненной школы дети с присущей им специфической логикой и наивностью оказывались иногда ближе к истине, чем их родители, умудренные опытом, собственным и предшествовавших поколений. Речь здесь идет не только о политике. С.Н. Валк высоко ценил занятия с первокурсниками, с которыми изучал *«Русскую правду»* «с самого начала», как бы вне историографической традиции. Моей жене, как и другим преподавателям истории в средних учебных заведениях, неоднократно приходилось убеждаться в цепкости и самобытности детского восприятия исторического материала. Когда в 1989 г. в № 30 журнала *«Огонек»* появилась фотография встречи Риббентропа в Москве, в подписи к которой встреча датировалась 30 марта 1939 г., между тем как известно о двух его визитах в Москву — в августе и в сентябре, то первыми заметили это (разумеется, насколько мне известно) ученики Б. Рубежовой. А дети ведь выросли... Одной из школ самостоятельной мысли для старшеклассников был в 1960-е — 1970-е годы литературный клуб *«Дерзание»*, которым руководил Алексей Михайлович Адмиральский. Уже будучи студентом, один из прежних членов клуба, посетив его, обронил бумажку со своими суждениями о Ленине, попавшую в КГБ. К тому, что об этом уже написано, должен добавить, что установление авторства записки продолжалось два года, потому что А.М. Адмиральский изъясил из бумаг клуба все, что этому помогло бы. Репрессии, которым он был за это подвергнут, вскоре его доконали, друзья и ученики поставили ему памятник со словами: *«Человеку, литератору, гражданину»*.

хам, сетовал: «Сказали бы, что танцевать». В ходу были каучуковые, или каутскианские, как это тогда называлось, двусмысленные формулировки, хотя за них могли и наказать. Один влиятельный московский администратор говорил мне (речь шла об освещении российско-китайского разграничения в «Краткой истории СССР»): нужно, чтобы одинаково правильно читалось и слева направо, и, как по-еврейски, — справа налево.⁵

Помню, как выдающийся московский исследователь П.Г. Рындзюнский говорил о нашем старшем коллеге в Ленинграде Ш.М. Левине, у которого мы многому научились, («Скажет что-нибудь, а нам на полгода работы», — заявил однажды Б.В. Ананьич) что он заранее знает, как обернется дело в трактовке той или иной проблемы. А.П. Погребинский, когда начальство обрушилось на экономиста Касимовского, посмеявшегося заговорить о возможности предпочтения произ-

⁵ Очевидно, совет этот был выполнен и помог делу, потому что цензор Горлита в Ленинграде, к которому я был послан дирекцией издательства именно в связи с вопросом о границах с Китаем, безо всяких разговоров дал свое разрешение. Вообще вхожи в Горлит были лишь руководящие работники издательства, но на сей раз они двинули вперед меня. Я имел их указание просить цензора, чтобы он позвонил им по телефону в любом случае. Он сделал это и услышал просьбу не зыбыть поставить разрешительный штамп на каждом печатном листе. Это взбесило его и он заявил хорошо знакомому собеседнику: «Приходи сюда сам, я тебе поставлю штамп на каждую ягодицу». Кстати, передо мной от него вышла дама из Ленконцерта, не получив разрешения на какой-то текст, который он счел унижающим достоинство Е. Евтушенко.

Расскажу о встрече с другим цензором, который сам меня вызвал. Я был институтским редактором вышедшей в 1963 г. книги С.И. Потолова «Рабочие Донбаса в конце XIX века». «Н.С. Хрущев часто вспоминает о своей работе на шахте, а в книге этого нет», — услышал я. По согласованию с автором я сослался на то, что речь идет о другом времени, привел еще какие-то резоны. Он неохотно уступил, но когда я был уже в дверях, с житейской озабоченностью произнес: «Не обидеть бы нам с вами старика».

водства товаров группы «Б» перед группой «А», т. е. товаров народного потребления, а не средств производства, сказал мне, что понимал всю опасность такого выступления, а потом другим тоном добавил, что прав-то именно Касимовский.

Разумеется, многое зависело от свойств человеческого характера. *«Мы с Вами не болтуны, — говорил мне мой московский знакомый В.В. Альтман, человек очень осведомленный, — а просто разговорчивые...»*

Различию между тем, что писалось, и говорившимся в частных беседах способствовало, но лишь опосредованно, то обстоятельство, что в устной речи, произносимой в официальной обстановке, самими властями разрешалось кое-что из не предназначенного для печати, но требовавшего, с их точки зрения, огласки или полуогласки. Это относилось и к тому, что считал нужным пустить таким образом в оборот сам Сталин. В частности, в 1934 г. он прибегнул к такому приему на заседании Политбюро, посвященном учебникам по истории, сказав, что русский народ, всегда присоединявший другие народы, приступил к этому и сейчас. Это был сигнал к приданию отечественной истории патриотического духа. Запись в дневнике, сделанная присутствовавшим на заседании С.А. Пионтковским, осталась, насколько известно, единственным письменным свидетельством об этом. А следы произнесенного вскоре стали весьма заметны в литературе. Аналогичным образом в том же году, хотя и не устно, а в форме закрытого письма членам Политбюро, Сталин осудил взгляды Ф. Энгельса на внешнюю политику России и снял с нее одиум наиболее агрессивной из европейских держав. В течение нескольких лет это письмо оставалось в «самиздате».

Практиковалось и использование подготовленного властями и разученного по шпаргалке людьми «из народа» устного слова, которое затем становилось в печати «голосом народа». Вспомним у А. Галича мужчину-активиста, получившего по ошибке инструктора обкома письменное задание «как мать и как женщина» заклеить израильских агрессоров, или в кинохронике лица людей, требовавших на митингах смертной казни для обвиняемых на политических процессах.

Мне довелось быть лишь на митинге, одоббившем приговор по делу Берии, в Библиотечном институте, где я тогда работал. Один из ораторов, профессиональный актер, выступавший с большим чувством, потом сказал: *«Тутхоть было за что...»*

Органы НКВД практиковали «запускание» слухов, то ли подтверждаемых, то ли нет. Это давало не только пищу, но и правовое основание для разговоров, хотя и сомнительное. Впрочем, это особый сюжет, имевший к свободе словоговорения ограниченное отношение. Иное дело — система устной партийной пропаганды, проводившейся лекторскими группами, существовавшими при партийных и комсомольских комитетах — от центральных до районных. Их члены работали чаще всего на общественных началах. Существовали и штатные лекторы, которые входили в партийную номенклатуру как лекторы ЦК ВКП(б), обкома, горкома или райкома. При партийных комитетах были парткабинеты, где лектор нижестоящего партийного органа (или выросшего из созданного во время войны Лекционного бюро Всесоюзного комитета по делам высшей школы Общества по распространению политических и научных знаний, позже — Общество *«Знание»*, оно также участвовало в политической пропаганде) мог на месте прочесть стенограмму лекции лектора ЦК, а когда появились магнитофоны, можно было прослушать звукозапись. Стенографировались и лекции рядовых лекторов, но с целью контроля за их содержанием. Так, придя однажды с лекцией в ремесленное училище на Староневском, я застал в аудитории пожилую интеллигентную женщину, которая сообщила мне, что она по поручению парткабинета горкома должна стенографировать мою лекцию. Через несколько дней С.А. Могилевский, заведовавший отделом этого кабинета и по совместительству преподававший на нашей кафедре истории международных отношений в Университете, рассказал, что именно эта дама записала в молодости фразу Ленина *«Есть такая партия!»* на первом Съезде Советов.

Мне доставались лекции в цехах во время обеденных перерывов, в жилконторах Васильевского острова и даже в

сельских клубях. Свобода слова в этих ситуациях давала себя знать. Однажды в цеху, когда я вел речь о Второй мировой войне, рабочий, послушав хитроумные построения о вступлении СССР в войну с Японией, сказал, как отрубил: *«Пока мы воевали с немцами, японцы сидели тихо, а ведь могли бы напасть на нас, как это сделали мы, разбив немцев»*.

В Красном уголке жилконторы на 6-й линии меня слушали несколько мальчишек, гревшихся после катка, старушек, коротавших вечер (телевизоров еще не было), и вышедший из дома за бутылкой строевого вида человек в новом кожаном пальто, лично известный старшему дворнику, спикеру этой ассамблеи. Тот стоял на сцене в огромных валенках и видел свое предназначение в соблюдении полной тишины и обеспечении внимания к каждому моему слову. Когда человек в кожаном пальто пытался что-то сказать, со сцены раздавалось топанье валенками и произносилась фамилия нарушителя с добавлением слов о его происхождении по материнской линии.

Когда я закончил, заинтересованный слушатель подошел ко мне и с очень дружелюбной покровительственностью сказал: *«Ты, молодец, прямо по периодической печати чешешь. Юрист, наверное. А я один живу. Слушай, пойдём ко мне, выпьем по сто пятьдесят. Логично будет, правда?»* Судя по всему, мы были соратниками в идеологической борьбе...

Довольно часто в больших залах выступал с лекциями на международные темы Е.В. Тарле. Всякий раз собиралась многочисленная публика. Однажды я видел на его лекции сидящих в президиуме секретарей обкома. Простертая над ним сталинская длань была для всех очевидна. Его лекции не носили, разумеется, партийно-пропагандистского характера — ни по блестящей форме, ни по терминологии. Они были просто беспощадно и ярко саркастическими по отношению к противникам СССР на международной арене. В высшей степени тактично и искусно Е.В. Тарле давал аудитории почувствовать не только свою уникальную эрудицию, но и осведомленность в текущей политике. Если все, что сообщалось аудитории обычными партийными лекто-

рами, проходило целый ряд посредствующих инстанций, а сами они вместо иностранных журналов и газет читали инструктивные партийные материалы, то у Е.В. Тарле дело обстояло иначе. Чуть ли не ежедневно, будучи в Ленинграде, он приезжал в Библиотеку АН СССР. Его ученица Р.М. Тонкова, заместительница директора библиотеки, провожала его к грузовому лифту (пассажирского там еще не было), и он поднимался на верхний этаж, где помещался читальный зал Отдела специального хранения. Там он несколько часов читал текущую иностранную периодику и книги, изъятые из общего фонда ранее или поступившие из-за рубежа прямо туда. Обладая фотографической памятью, записывал он очень мало. А с кафедры воспроизводил целые фрагменты прочитанного. Он говорил, что собственной библиотеки не собирал, поскольку Публичная библиотека все равно лучше. Его роль ученого-историка, анализирующего современность, была по уникальности подобна роли И.Г. Эренбурга в публицистике и Д.О. Заславского в политической сатире.

Основными темами лекций в партийной пропаганде были *«Международное положение СССР»*, несколько реже — *«Международное и внутреннее положение СССР»*. Лекции на такие темы, как правило, не публиковались, хотя Общество по распространению политических и научных знаний издавало отдельными брошюрами лекции по отдельным вопросам международной политики, носившие приближенный к специальному, академическому изданию, характер.

Среди лекторов были высокие профессионалы-пропагандисты, мастерски вкраплавшие в свое изложение сведения, для печати не предназначенные и в ней не появлявшиеся. В середине июня 1941 г. я вместе со своим одноклассником А.Д. Юровым был на лекции едва ли не самого популярного в течение многих лет ленинградского лектора-международника Л.Н. Добржинского, который в весьма недвусмысленной форме заявил о предстоявшем в ближайшее время начале советско-германской войны. Помню, что он придал своим словам характер предупреждения о возможности сговора империалистических держав на антисоветской основе.

По всей вероятности, это сообщение было связано с тем, что 19 мая был подписан к печати очередной номер журнала «Большевик», содержащий письмо Сталина членам Политбюро против Энгельса. Опубликование этого письма, в течение шести лет остававшегося в тогдашнем самиздате, должно было служить сигналом, который мог быть дан и с помощью устной пропаганды. О пропагандистской подготовке к войне теперь появились специальные работы. Устное слово играло в этом значительную роль.

Я успел рассказать о предупреждении Добржинского жившей в нашей семье Х.Г. Щур, уехавшей 17 июня на лето в Киевскую область и оказавшейся в оккупации. Как и А.Д. Юров, она часто вспоминала об этом.

Кроме Л.Н. Добржинского, в Ленинграде пользовались широкой популярностью Соломоник, Марон, Могилеввер, Кадачигов, Федосеев и др. Они выступали на так называемой центральной площадке Лектория (Литейный, 42). Одно время об этих лекциях помещались объявления в газетах.

Были и другие, многочисленные, менее знаменитые, но весьма квалифицированные лекторы, среди которых в 50-е годы и позже было много бывших военных политработников. Они выступали перед рабочими (иногда в цехах) и служащими различных организаций. Помню, однажды, вероятно, в 1956 г., в нашем ЛОИИ (Ленинградском отделении Института истории АН СССР) выступал с лекцией о международном положении пожилой, никому из собравшихся не известный человек по фамилии Столяров. В небольшом директорском кабинете его слушали самые квалифицированные историки города. Его это ничуть не смущало. Без всяких внешних эффектов и ораторских приемов он так просто и ясно изложил дело, что Б.А. Романов на обратном пути заявил мне: «*Молодец Столяров*» — и решил запомнить эту фамилию.

В сущности, и ознакомление членов партии и беспартийных с докладом Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, считавшимся секретным, но прочитанным вслух на предприятиях и в учреждениях, как и получившие затем широкое распространение читавшиеся таким же образом на партийных собраниях

закрытые письма ЦК, были формами устной пропаганды, имевшей такие возможности, которых не давала печатная.

Теперь мне кажется, что с помощью устной пропаганды, носившей, как правило, лекционный характер и предназначенной в основном для той части населения, которая была если не думающей, то задумывающейся, имелось в виду несколько умерить деланный пафос официального — как письменного, так и устного — слова. Этот пафос — все равно: гневно-разоблачительный и клеймящий или благостно-прославляющий — своей фальшивостью мог оказаться опасным. В 1958 г., когда я слушал речь Хрущева на Дворцовой площади в Ленинграде (она была произнесена перед слушателями, колоннами приведенными от райкомов партии, и транслировалась только по городской трансляционной сети, а репродукторов не было в интуристовских гостиницах), у меня сложилось впечатление, что у него после обеда одерживало верх влечение к нормальной человеческой речи. Несовместимость ее с требованиями строгой партийности была очевидна.

Обращаясь к руководителям северо-западных областей с упреком в том, что они стараются избегать повышенных обязательств в деле роста поголовья скота, он сказал: *«Чего вам-то бояться, это там, где скота много, поголовье увеличить трудно, а у вас есть в хозяйстве полтора одра, завели еще столько же, и вот вам рост на 100%»*. Потом весьма образно изложил свою беседу с лидером какой-то африканской страны. *«Мы с Николаем Александровичем Булганиным, — рассказывал он, — отвели его на приеме в уголок и говорим: "Вот ты там у себя принц (прозвучало это как «прынец»), ну, а как, по-твоему, у нас люди живут?" Он говорит: "Хорошо, в домах живут, и все в штанах ходят, у нас этого нет"»*.

Разумеется, это были черты либерального времени. Но и в страшные 30-е годы использовать казенную формулу показалось неуместным даже заместителю наркома внутренних дел Н.И. Ежова М.П. Фриновскому, пришедшему арестовать П.П. Постышева. Он предпочел невинную, казалось бы, фразу, страшнее которой на деле не было ничего: *«Вы готовы, Павел Петрович?»* А в 1960 г. к сыну Постышева явился че-

ловец, расстрелявший его отца и мать и сфотографировавший (полагаю, что для Сталина) их тела. «Такая у меня была работа», — объяснил он. Обо всем этом сын Постышева Леонид рассказал в телевизионной передаче Константина Смирнова «*Большие родители*» на ОРТ 14 декабря 2002 г.

В научной жизни формой допускаемой устной гласности были организованные дискуссии по методологическим вопросам, дававшие руководству возможность судить о взглядах тех или иных ученых, выбирать и поддерживать предпочтительные и наиболее целесообразные для него, отвергать признанные неподходящими или чуждыми и даже враждебными и карать за них. Отмалчиваться было нельзя: это не поощрялось, так как вело к официально неодобряемой (впрочем, далеко не во всех случаях) «кладбищенской тишине». Дискуссии в той или иной форме отражались затем в печати. Обсуждение рукописей готовых исследований было обязательным условием рекомендации их к печати. Преимущественное внимание уделялось при этом методологической и политической стороне дела. Коллективные труды, которым придавалось основополагающее значение, делались предметом широкого диспута с предварительным их размножением ротапринтным или типографским способом (оно называлось «макетированием»), предшествовавшим их изданию в окончательно одобренном виде.⁶

Все это не могло не способствовать разговорчивости историков, сочетанию в их частных беседах друг с другом официозности и некоторого своеобразного вольномыслия, вызванного причинами производственно-творческими, требо-

⁶ Макеты делались иногда с такой основательностью, что могли, сохранившись там, куда были разосланы (как правило, их не собирали), сыграть роль книги, если она так и не вышла, или одного из предварительных вариантов вышедшей. Случай первого рода произошел с макетом «*История СССР. Россия в период победы и утверждения капитализма (1856—1894). Ч. 1. Социально-экономическая и политическая история*» (М., 1951), в котором глава XIII («*Внутренняя политика царизма в 80-х—начале 90-х годов*», с. 910—994) написана С.Н. Валком.

ваниями успешной научно-педагогической деятельности. Сочетание это имело иногда довольно причудливый характер, особенно в тех случаях, когда собеседники затруднялись или ошибались в оценке ситуации, друг друга и т. п.

Я отчетливо сознаю, что могу быть обвинен в уходе от строгой научности. Читатель сейчас увидит, что я таким обвинениям уже подвергался. Но должен заметить, что производившийся в то время, о котором я рассказываю, историографический и источниковедческий анализ событий и явлений, независимо от того, к каким историческим периодам они относились, был связан с множеством обстоятельств, казалось бы, чуждых науке, но, к сожалению, очень и очень на нее влиявших, в гораздо большей мере, чем в другие времена. Мало того, именно поэтому такие обстоятельства подчас с наибольшей яркостью характеризуют то трагическое время, о котором идет речь. И для подлинно научных оценок историографии важны реалистические представления об условиях, в которых жили создававшие ее люди. Условия эти, влиявшие на ими написанное, как правило, оставались за его рамками. Не только быт в узком смысле этого слова (в какой квартире жили и т. д.) имеется при этом в виду, но и житейские обстоятельства в отношениях между различными частями исторической корпорации, между историками и властью.

Подлинная картина жизни того времени много сложнее тех представлений, которые складываются о ней теперь и сводятся иногда к тому, что люди жили в идеологической клетке, боясь друг друга, боясь власти, занимались сплошным доносом и имели в виду единственную цель — писать, как требовалось. Так действительно было, но было и не только так.

Во всяком случае историк, как, впрочем, и представитель другой профессии, и не только в советское время, на трибуне, на кафедре и в жизни — это очень любопытная возможность для сопоставления. У Александра Яшина есть рассказ «Рычаги». Несколько членов сельской партийной организации в ожидании единственного недостающего ведут между собой нормальный человеческий разговор. Открывается дверь,

входит тот, кого ожидали, начинается собрание, и те же люди теми же голосами начинают произносить казенные вещи.

Относительная и частичная (так выражался Сталин о стабилизации капитализма, добавляя еще и слово «временная») свобода неофициального, а то и официозного или полуофициального устного слова была, как мне теперь кажется, хотя и не прямым, но **несомненным** и явным идеологическим последствием кризиса сталинского режима. А начался этот кризис с того, что достигший всей полноты власти Сталин, заключив советско-германский пакт, вступил на путь великодержавно-имперской политики. Собственно, между всевластием диктатора и такой политикой была прямая и двусторонняя связь. Для поддержания и увеличения мощи режима такого типа требовалась череда эффектных внешних побед, а сам этот режим был обязательным средством для того, чтобы их добиться.

Как представлял себе Сталин способы удержания всего того, что он принялся присоединять? Когда министр иностранных дел Литвы Юозас Урбшис в октябре 1939 г. после подписания договора с СССР спросил Сталина, действительно ли союзные республики могут, если пожелают, выйти из Советского Союза, тот ответил: «Да, если пожелают, могут, но в каждой из них на **то, есть** коммунистическая партия, чтобы они никогда этого не **пожелали**».⁷ Вероятно, он в течение какого-то **времени** считал, что система власти, созданная им в старых пределах страны, окажется достаточно эффективной и на вновь присоединенных территориях. Однако для удержания в повиновении в требовавшейся ему степени не только прежних, но и новых подданных и всей империи при его методе управления необходимо было колоссальное напряжение силовых средств, подчинение этой цели экономических, политических и идеологических ресурсов дополнительно к тому их предельному объему, который поглощала метрополия. Империя вообще явление малоустойчивое. Сталинская же,

⁷ *Урбшис Ю.* Литва в годы суровых испытаний: 1939—1940. Вильнюс, 1989. С. 44.

требовавшая для своего сохранения чрезвычайных мер немислимого **характера**, созданная в ходе Второй мировой войны, покончившей с другими империями, исторически запоздала.

Раскрепощение сознания с развязыванием языков (или, скорее, — опасения Сталина перед такой возможностью) обычно приурочиваются к концу войны и объясняется европейскими впечатлениями солдат и офицеров Советской армии. Эренбург писал о вошедшем в немецкий дом солдате, который, усвоив лозунг: *«Добьем зверя в его берлоге!»*, сказал: *«В такой берлоге жить можно»*. Считалось, что Сталин предвидел рецидив декабризма в офицерской среде.

Но уже начало войны породило в обществе элементы независимого мышления. Понимание этого заставило Сталина 3 июля 1941 г. произнести слова *«братья и сестры», «друзья мои»*, которых он никогда не употреблял ни до того, ни после в своих **речах**.⁸ Вот воспоминания того времени М.Я. Гефтера, изложенные и осмысленные им в 1987 г.:

«Смоленщина, начало октября 1941-го, удивительная голубизна неба и еще более удивительная **тишина**, бредущий по обочине **красноармеец**, один-единственный впереди и **позади**, — и мое упрямое, злое нежелание довериться его словам: там, в роще, немецкие танки... А перед глазами — человек, брошенный на произвол судьбы, и он же, этот человек, внезапно, на кромке смерти, обретающий свободу **распорядиться** собой. Именно *свободу*. Конечно же, не добровольно принял он на свои **«одинокие»** плечи груз безмерного бедствия и отпора сверхприказа (сверх и даже **без...**), по крайней нужде взвалил, а добрая воля пришла потом, пришла и утвердилась... Как очевидец и как историк свидетельствую: 41-й, 42-й множеством ситуаций и человеческих решений являли собой стихийную десталинизацию (и до сегодняшнего дня не вполне оцененную в этом ее сквозном, но нестойком **качестве...**)».⁹

⁸ «В докладе 3 июля 1941 г. начало *«Квам обращаюсь...»* и *«Дней Турбинных»*, которые смотрел 14 раз» (Дневники Натана Эйдельмана. М., 2003. С. 101).

⁹ *Гефтер М.Я.* Сталин умер вчера...: Беседа с журналистом Г. Павловским // *Гефтер М.Я.* Из тех и этих лет... М., 1991. С. 242.

Может быть, среди плодов патологического доверия к Гитлеру, проявленного Сталиным, это был один из самых для него ядовитых.

Действительно, в эти осенние месяцы 1941 г. Сталину пришлось выслушать просьбу Г.К. Жукова выбрать в разговоре с ним **выражения**.¹⁰ Что думал тогда же о себе и собственной судьбе обычно упивавшийся неограниченностью своей власти человек, заботливо спрашивая о самочувствии К.А. Мерецкова, арестованного сейчас же после начала войны и выпущенного из тюрьмы, где следователь мочился ему в лицо? Мало того. Неспособность скрыть свой страх перед ответственностью за все содеянное, понимание им своей бесконечной вины с надеждой на безнаказанность отмечены, по крайней мере, дважды. Речь идет о его поведении в первые дни после гитлеровского нападения и о телефонном звонке Коневу на Западный фронт в критический для Москвы момент октября 1941 г. с «почти истерическими словами о себе в третьем лице: *"Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек..."*».¹¹

М.Я. Гефтер, в 1987 г. отмечавший нестойкость десталинизации первых лет войны, в 199° г. тем не менее писал применительно к послевоенному времени о Сталине, **«гонимом неизбежным комплексом ненужности»**.¹² Сталин и сам в одной из первых своих послевоенных поездок по стране пожаловался сопровождавшему его министру путей сообщения ген. И.В. Ковалеву на членов Политбюро:

«Они понимают, что я не могу все знать, и хотят сделать из меня факсимиле. Я не могу все знать. Я обращаю внимание на разногласия,

¹⁰ *Симонов КМ.* К биографии Г. К. Жукова // *Симонов КМ.* Глазами человека моего поколения: Размышления о И.В. Сталине, М., 1990. С. 318.

¹¹ *Симонов КМ.* Беседы с маршалом Советского Союза И.С. Коневым // *Симонов КМ.* Глазами человека моего поколения. С. 351, 360.

¹² *Гефтер М.Я.* После Сахарова // *Гефтер М.Я.* Из тех и этих лет... С. 474.

на **возражения, разбираюсь**, почему они **возникли**, в чем дело. А они прячут это от меня. Проголосуют и спрячут, чтоб я поставил факсимиле. Хотят сделать из меня **факсимиле**».¹³

Единственным, кого он в этом не обвинял, был вскоре расстрелянный Н.А. Вознесенский. Свобода слова в такой ее форме нужна была и диктатору, но традиционный расстрел за нее представлялся ему полезнее.

За мощным и грозным фасадом победившей ценой неимоверных жертв в невиданной до того войне сверхдержавы и в окружавшем ее мире наблюдались явления, события, настроения, несовместимые с искусственной величием сталинской конструкции, с неременным признанием ее безупречности и неприкосновенности.

Само собой разумеющаяся **немыслимость** каких-либо слабостей внутри- или внешнеполитического **порядка**, бесспорность тезиса о коренном превосходстве социализма над капитализмом были опасны **тем**, что требовали действительно недостижимого совершенства социально-экономического, политического и государственного строя. Между тем искусственность задуманного и осуществленного во всех сферах жизни была связана со многими дополнительными опасностями и трудностями в деле его сохранения. Как говорят водопроводчики, система еще работает, но **«протечка-тоидет...»**

Вероятно, первой после войны внешнеполитической сталинской если не неудачей, то, во всяком случае, бесславной и вредной для его престижа в коммунистическом мире операцией была, выражаясь современным языком, сдача им англичанам греческих коммунистических партизанских сил, осуществленная на протяжении второй половины 1940-х годов во исполнение договоренности с У. Черчиллем, достигнутой в 1944 г. Такое было ему не впервой. По отношению к испанским республиканцам он уже проделал это, вызвав попавшие в западную печать упреки Ф. Раскольникова и снискав публичную похвалу Гитлера. Нечего и говорить о юго-

¹³ *Симонов КМ.* Глазами человека моего поколения. С. 139.

славской истории, которая, помимо всего прочего, поставила под сомнение один из главных сталинских лозунгов: «Социализм — это мир», с большой наглядностью показав острейший конфликт между странами, считавшими себя оплотами социализма. Поражения в вызванном им берлинском кризисе и развязанной по его инициативе корейской войне были очевидны, зародившийся конфликт с Китаем оставался закулисным, но некоторые его признаки оказывались различными.

Наведение идейно-политической строгости дома было без массовых арестов каким-то не до конца устрашающим. Да и литературно-музыкальные темы постановлений ЦК вроде бы не располагали к этому. Как бы то ни было, и название осужденного зощенковского рассказа про обезьяну, и возвращение к старой теме «сумбур вместо музыки» (о Д.Д. Шостаковиче), и формула «полумонахиня, полублудница» (об А.А. Ахматовой) были не чета «троцкистским и иным двурушникам», «фашистским шпионам», «вредителям» и т. п. Композитор Н.В. Богословский представлялся при знакомстве как «кабацкий меланхолик» в соответствии с оценкой его музыки в постановлении ЦК. Все это было хотя и не весело, но не так страшно, как призывы к казням на митингах 30-х годов.

Не ладилось дело у Сталина и с судебными процессами. Так называемые поповцы были осуждены и немедленно расстреляны без всякого публичного оповещения об этом. А что это возбуждало недоуменные вопросы в среде партийных работников (ведь среди расстрелянных были не только члены и секретарь ЦК, но и член Политбюро) — Сталин понимал. Присутствие в зале суда представителей ленинградского партактива, в большинстве своем вновь назначенных взамен арестованных, об этом свидетельствовало, но дела не меняло, несмотря на признание вины всеми без исключения обвиняемыми. Бывший на процессе Д.И. Петрикеев опровергал сведения о том, что А.А. Кузнецов составил в этом смысле исключение. Известно, что восстановление отмененной в 1947 г. смертной казни, которое провели 12 января 1950 г., когда «поповцы» были в тюрьме, от них скрыли.

Процесс Еврейского антифашистского комитета, также расстрельный, прошел в полной тайне, и его организация

не обошлась без трудностей. Председателя Военной коллегии Верховного суда В.В. Ульриха, сталинского мастера лжесудебных расправ, сменил генерал А.А. Чепцов, который, прервав суд, пытался протестовать против необоснованности обвинения, но был укрощен Маленковым ссылкой на решение Политбюро. Возможно, что для ведения дел по намеченному старому пути требовалось открытое участие самого Сталина в обличении новых «врагов», а он избегал этого. Более того, считалось, что для удостоверения на всякий случай своего интернационализма он запрещал учитывать национальные мотивы при распределении Сталинских премий. Это было темой шедших «сверху» слухов, находивших подтверждение на практике.

Шесть лет Сталин молчал на передававшихся по радио и демонстрировавшихся в кинохронике торжественных собраниях, в том числе на чествовании его по поводу 70-летия, где его поза и неподвижность, по впечатлениям присутствовавшего медика, были признаками психического расстройства. В течение нескольких послевоенных лет его здоровье и психическое состояние заметно для всех ухудшились. Проявлением неблагополучия был отказ от созыва партийного съезда или конференции с предвоенного времени до осени 1952 г. Еще весной этого года проф. В.Н. Виноградов дал официальное заключение о необходимости для Сталина в связи с состоянием его здоровья полного ухода от всякой деятельности. Краткая речь Сталина на XIX съезде была его публичным ответом на это. Хотя, как известно, на послесъездовском пленуме он заговорил о своей старости, уходить он не только не собирался, но, чтобы не допустить и мысли о преемнике, объявил английскими шпионами Молотова с арестованной женой и Микояна, женившегося сына на дочери А.А. Кузнецова чуть ли не в день ареста ее отца, хоть и с «высочайшего» ведома.

Но тут ему был нанесен такой удар из Белграда, который, если он его ощутил и осознал, должен был стать для него грозным предзнаменованием. Вскоре после XIX съезда на югославском пленуме М. Джилас выступил против единоличной диктатуры как противоречащей социализму. Имелся

в виду Тито, но для Сталина это был вернувшийся к нему бумеранг. Борьба с культом личности без произнесения такой формулы могла начаться и при жизни этой личности.

Поговорить (чтобы не сказать — посудачить) было о чем. Ведь публиковалось так мало, что без иностранного радио и разговоров общество стало бы слепоглухонемым. Начальство в силу своей осведомленности понимало это в более полном объеме, чем публика. Специальные запреты были в ходу, но в них была та опасность, что они трактовались как подтверждение запретного, смешное могло показаться еще смешнее и т. п. Оставалась надежда на общую запуганность и благоразумие. А она таяла, со смертью Сталина — в ускоренном темпе. Он был еще жив, когда ведущие дело врачей перепуганные следователи вдруг стали расспрашивать своих невольных постоянных собеседников не об их злодеяниях, а о признаках болезни не называвшегося при этом лица. Следователь, допрашивавший доктора В.Л. Вовси, жену проф. М.С. Вовси, пожаловался ей, что заболел его дядя. В.Л. Вовси, выслушав медицинские сведения, не считаясь с горем «племянника», заявила: «Если Вы ждете наследства от Вашего дяди, **считайте**, что Ваше дело в **шляпе!**»¹⁴

А после смерти Сталина некоторые из его формул, которыми он клеймил противников, стали предметом острот. Еще до замирения с Югославией **титовского** министра госбезопасности стали называть «*бывшим кровавым псом Ранковичем*», а после замирения рассказывали о политинформации молодой учительницы, которая радостно сообщила о приезде в Советский Союз «*товарища Клика Тумо*». Второго из этих слов без первого она до тех пор не читала и не слышала.

Ручейки информации, спускавшиеся вниз с самого верха, стали до некоторой степени обыденностью. Иногда сведения оттуда бывали пикантными. После гибели в автомобильной катастрофе в 1962 г. председателя Ленгорсовета

¹⁴ *Рапопорт Я.Л.* На рубеже двух эпох: Дело врачей 1953 года. СПб., 2003. Примечание Натальи Яковлевны Рапопорт к фотографии В.Л. Вовси между **сс.** 207 и 208.

Н.И. Смирнова между Хрущевым и считавшимся вторым после него лицом, переведенным из Ленинграда Ф.Р. Козловым, произошел скандал, записанный в дневнике Н.Я. Эйдельмана как один из рассказов писателя Камила Икрамова через 8 лет после отставки Хрущева и 7 лет после смерти Козлова. Вот эта запись:

«На каком-то заседании (Политбюро или Пленума) Козлов предоставил слово **Хрущеву**, а тот вдруг зачитал письмо [Козлова] из сейфа Н.И. Смирнова — о лысом м..., а дальше: *"Скоро приеду, пусть Нинка и Эльвира подмоются"*. У **Фрола** инсульт — Н.С.: *"Сдохнет — похороним в Кремлевской стене, выживет — пусть пеняет на себя"* (появилась шутка: *"смертьвозвратила в наши ряды..."*).¹⁵

Разумеется, мне не придется ограничиваться узкопрофессиональной тематикой историографического характера. Постараюсь дать представление о восприятии моими собеседниками политических событий разного времени, их мнениях и соображениях по поводу жизни страны.

Мои робкие попытки действий в этом направлении, предпринятые более десяти лет тому **назад**,¹⁶ получили тогда резкий отпор со стороны одного из руководителей Петербургской еврейской общественности А. Френкеля. В статье, озаглавленной *«Симптомы национального комплекса»*, он писал, что меня «мало интересует подлинная история», вместо которой я представляю читателю *«"устную традицию", "фольклор", а по существу подборку слухов, догадок и собственных эмоций»*.

«Эти эмоции настолько важны для автора, — продолжал А. Френкель, — что он, историк, считает возможным писать: *"Опубликованные ныне документы о деле Еврейского антифашистского комитета не подтверждают как будто связи его уничтожения с образованием госу-*

¹⁵ Дневники Натана Эйдельмана. С. 90.

¹⁶ *Ганелин Р.Ш.* 1) Государственный антисемитизм в СССР в 30—40-х годах // *Барьер*. № 1 (92). С. 11; 2) Возвращаясь к 40-м годам // *Барьер* № 2(93). С. 19.

дарства Израиль<...> Тем не менее этих документов недостаточно, как мне **кажется**, чтобы опровергнуть тогдашнюю нашу **трактовку...**". И вновь возникает вопрос — на какого читателя это рассчитано? Кому **"тогдашняя** наша трактовка" важнее **фактов?**"¹⁷

Я не ответил тогда А. Френкелю, редакция журнала поместила свой ответ на его письмо, относившееся к журналу в целом. В этом ответе, в частности, говорилось:

«Пассаж **г-на** Френкеля относительно статей Р.Ш. Ганелина выдает непонимание нашим корреспондентом как значения для истории XX в. того, что принято называть "устной традицией" (**oral history**), так и некоторых принципиальных пороков документальных источников<...>, из чего вытекает и очевидная для профессионального источниковеда необходимость критического отношения к документу, проверки его свидетельствами иного рода и т. д. **Если** бы только любая содержащаяся в документе информация могла считаться историческим фактом, насколько легче была бы профессиональная жизнь **историков!**"¹⁸

Вместо того чтобы отстаивать «тогдашнюю нашу трактовку», отошлю читателя к тому, что пишет специальный исследователь политики Сталина в еврейском вопросе. Первая попытка закрытия Еврейского антифашистского комитета с вывозом сотрудниками МГБ его документов была предпринята летом 1946 г. Однако закрытие не состоялось, и документы были возвращены. В конце того же года их изъяли вторично, но 2 февраля 1947 г. **снова** вернули. Весной этого года заведующий сектором ЦК Г.В. Шумейко неожиданно похвалил руководство Комитета за высокий уровень **пропаганды**.¹⁹ А вот когда при поддержке СССР было создано государство Израиль²⁰ и

¹⁷ Там же. № 4/94. С. 16. Что, кстати, означает понятие «национальный комплекс»?

¹⁸ Там же. С. 17.

¹⁹ *Костырченко Г.В.* Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. М., 2001. С. 365—368.

²⁰ «Пик **советско-сионистского** сотрудничества пришелся на 14 мая 1948 г., когда следом за заявлением Лондона о прекращении действия

«после скоротечного "медового месяца" уже в конце лета 1948-го появились первые признаки охлаждения между этими государствами», судьба комитета была решена.²¹

Профессиональное отношение историка к источнику, как представляется, в значительной мере основано на здравом смысле и жизненном опыте. Хочу поэтому привести в заключение слова автора книги, соединившей в себе черты мемуаров и исторического исследования, Ф. Лясса. Она появилась в печати чуть позже письма А. Френкеля. Так же, как и А. Френкель, Ф. Лясс по образованию и роду занятий не историк, но вот как на одной из первых страниц этой книги он определяет свою задачу: «Основная причина, побудившая меня взяться за перо и поделиться своими предположениями, родившимися и окрепшими десятки лет тому назад, это глубокая вера в то, что живое свидетельство никогда не теряет своего значения в анализе и оценке исторических фактов».²² По моему мнению, этому автору удалось свою задачу успешно решить.

Разумеется, я старался быть точным. В некоторых случаях мне удалось проверить свою память. Но это относится далеко не ко всему мною написанному, и мне остается сослаться на то, что ведь и апокриф характеризует время и обстоятельства своего возникновения.

Чтобы не выйти за рамки своей темы, я избегал того, что могло относиться лишь к собственному жизнеописанию. Именно поэтому оказались обойденными родные и друзья.

мандата на Палестину и выводе оттуда своих войск в Тель-Авиве на заседании Еврейского национального совета было провозглашено создание Государства Израиль» (Там же. С. 402).

²¹ Там же. С. 417 и след.

²² Лясс Федор. Последний политический процесс Сталина или несостоявшийся геноцид. Иерусалим, 1995. С. 15. Пример такого свидетельства содержится в телевизионном рассказе А. Пиманова (ОРТ, 3 авг. 2004 г.) о том, как сейчас же после смерти Сталина М.А. Суслов стал искать палку, которой, по его сведениям, Сталин побил Берию, ругая его по-грузински. Оказалось, что Берия уже сломал палку и сжег ее в камине. Назидания же Учителя так и остались неизвестными.

КАК Я СОЗРЕВАЛ...

Это было, насколько я помню, в богатом событиями 1949 г. Я занимался изучением англо-американских отношений в 1890-е годы. Такую тему (так называемый «*Первый венесуэльский кризис 1895г.*») дал мне мой университетский руководитель проф. Н.П. Полетика. Вскоре у меня возникла трудность, так сказать, методологического характера. Вопреки утверждавшейся тогда в советской американистике в качестве общеобязательной оценке политики Уолл-стри-та как непременно агрессивной у меня так не получалось. Такие же трудности испытывал и мой старший товарищ, занимавшийся сходными сюжетами. Он-то и предложил обратиться за советом к его дяде, профессиональному марксисту, незадолго до того уволенному по анкетным причинам с кафедры марксизма-ленинизма одного из институтов. Выслушав нас, наш консультант, мировоззрение которого не было поколеблено увольнением, заикаясь, но с полной непреклонностью заявил: «*Я не знаю ва-ваших фактов, но я владею ме-методологией и знаю, что они все хи-хищники*». В этот момент я ощутил, что процесс моего созревания завершен. Но когда он начался?

Ответить на этот вопрос я не могу. По-видимому, скептическое отношение к официальному слову и мнению развивалось со значительной постепенностью. Помню свой детский гнев против убийц Кирова. Не сразу понял я и то, что бежавшая в Ленинград из Киевской области после голодной смерти брата и шестерых его детей, ставшая няней моих сестер упомянутая в предисловии Х.Г. Щур отнюдь не

кулачка, а жертва человеконенавистнической политики большевизма, как и другая наша домработница, В.И. Мишина, погибшая во время блокады.

Однако то обстоятельство, что я на всю жизнь запомнил два происшествия 1930-х годов, хотя все их значение я понял только через много лет, дает мне основания отметить свои ранние соприкосновения с трагическими событиями того времени.

Мы, дети, играли во дворе-колодце нашего дома, когда мать или бабушка (я тогда не определил этого) одной девочкой пригласила нас всех к себе домой посмотреть продаваемые девочкины игрушки. Преодолевая неловкость, она показывала нам их, бодрым тоном произнося рекламные фразы, призывая попросить у наших родителей денег на покупку. Но время от времени она останавливала свою очень интеллигентную речь и с изменившимся лицом тихо, но внятно говорила что-то вроде *«боже мой, боже»*. Не могу сказать, когда именно я понял, что столкнулся с последствиями ареста и нуждой дошедшей до крайности интеллигентной семьи.

Летом 1936 г. мы выехали за город в поселок Лобаново на берегу Невы. Вероятно (я точно этого не помню), моя мачеха Б.И. Синельникова, врач, специалист по лечению туберкулеза у детей, по обыкновению работала в одном из вывезенных на лето детских учреждений. Жили мы в закрытой на каникулы местной школе. В ней стоял рояль или пианино, играть на котором приходила девочка, сопровождаемая матерью. Это была семья начальника находившегося неподалеку лагеря для раскулаченных, или «спецпереселцев», которые могли выходить из него, очевидно, для работы «на волю». Но по поселку они, насколько я помню, не ходили. Вдруг один из них подошел к школьному окну, у которого занимался мой отец. Это был человек высокого роста, с правильными чертами очень мужского лица, сдержанными манерами, одетый в черную спецовку и болотные сапоги. *«Говорят, Вы профессор. У нас человек болеет, чем — неизвестно, а заявлять боимся»*, — произнес он. Меня удалили, продолжение разговора и его последствия остались мне не-

известными. **Отец**, несомненно, должен был сказать, что он не медик, но, судя по неожиданному приезду из города коллеги мачехи, крупного медика проф. Ямпольского, просьба о помощи встретила отклик. Возможно, что оказала содействие и жена коменданта, почтительно относившаяся к детскому доктору. Хочу надеяться, что дело обошлось. Но до сих пор помню человека у окна с его опасениями, вызванными страшным опытом тех лет.

1937 год не мог пройти в моем сознании бесследно, особенно потому, что в микрорайон нашей 1-й образцовой школы (позднее 67-я, 80-я школа) входили оба так называемых Дома обкома. Первый, гигантский, с множеством дворов, дом № 26/28 по проспекту Красных зорь (до того, как и ныне, это был **Каменноостровский пр.**, а в течение полувека после убийства Кирова — Кировский). В нем жили руководящие работники обкома, занимавшие свои посты при Кирове. Во втором доме, построенном на набережной Карповки под № 13, поселились те, кто появился в Смольном при Жданове. Дети тех и других учились в нашей школе, иногда вместе. Помню, что и после исчезновения отца продолжал в течение некоторого времени учиться сын расстрелянного председателя Ленгорсовета **И.Ф. Кодацкого**. В нашем классе учились мои друзья В. Гутман, отец которого приехал со Ждановым, был арестован в блокаду и погиб, и Ф. Запорожец, сын заместителя начальника **УНКВД** в момент убийства Кирова. Отец его исчез после этого из Ленинграда, семья оставалась в городе до 1938 г.²³ Это наводило на **размы-**

²³ Разумеется, это не может не иметь отношения к обстоятельствам убийства Кирова. Кстати, об этих обстоятельствах. В 1970-е годы д-р А.М. Бомаш, дочь известного депутата IV Государственной думы М.Х. Бомаша, работавшая в 1934 г. в медпункте Смольного, рассказала мне, что приехавший после убийства Кирова Сталин распорядился об оказании медицинской помощи официантке столовой Смольного Маше Волковой, находившейся в нервном расстройстве из-за того, что, услышав разговор обслуживавшихся ею лиц о подготовке покушения на Кирова, она сообщила об этом

шления, хотя разговоров на такие темы я не помню. Вероятно, в нашем детском сознании, как это было и вообще в интеллигентской среде, гитлеровская угроза перевешивала и подавляла собой все творившееся в стране, хотя постановочно-режиссерская чрезмерность сцен открытых процессов оставляла ощущение фальши, особенно в кинохронике. Года два до начала войны я стал посетителем лектория на Литейном пр., где антифашистская тема до 1939 г. превалировала.

Помню, что советско-германский пакт был шоком для меня и моих школьных товарищей. Он лишал происходившее в стране оправдания антифашистскими мотивами.

Поход в Восточную Европу и финская война с образованием териокского правительством О.В. Куусинена были даже для ученика 6-го класса кардинальными событиями, пропагандистское обоснование которых представлялось очевидно неудовлетворительным. Куусинена иногда называли Куусинеску, имея в виду возможность его употребления и в Румынии.

Германское нападение после успокоительного тассовского сообщения 14 июня подрывало веру в непогрешимость власти. У меня были и частные поводы к этому. Примерно через неделю после начала войны позвонил по телефону мой дядя, брат моей мачехи, А.И. Синельников, инженер Аэродромстроя НКВД. Их стройколонна (помню, что она подчинялась заместителю Берии Сафразьяну) сооружала аэродромы в Латвии. На грузовиках под обстрелом, неизвестно кем производившимся, они бежали от наступавших германских войск. В Ленинграде они расположились своеобразным лагерьем у здания УНКВД (Большого дома) в ожидании приказа из

в НКВД, но это не помогло делу. Сталин посетил ее в медпункте, утешал, подарил свой носовой платок. За некоторое время до того, как рассказать мне об этом, А.М. Бомаш встретила М. Волкову на улице. Пользуясь случаем, должен вспомнить и рассказ А.М. Бомаш о ее встрече с В.В. Шульгиным в Ленинграде в 1960-е годы во время съемок фильма «Суд истории». Узнав, что она дочь его думского коллеги, он сказал: *«Да, ему было нелегко в Думе, так же, как было бы мне в Верховном Совете».*

Москвы. Покидать место стоянки им не разрешалось. Я поехал туда, провел там некоторое время и слышал разговоры, смысл **которых** сводился к тому, что Гитлер сумел выманить нас «в предполье», и теперь мы расплачиваемся за это.

Другой повод для того, чтобы усомниться в мудрости власти, дало решение об эвакуации ленинградских школ и других детских учреждений в южные районы области прямо навстречу наступавшим немцам, между тем как людям, вовсе не искушенным в военном деле, например, моему отцу, было ясно, *что* эвакуация должна проводиться в восточном направлении.

Что касается влияния на меня моего отца, то оно, будучи систематическим, носило такой неспециальный, а потому незапоминающийся характер, что его очень трудно определить. Вместо этого я воспроизвожу в качестве приложения свои краткие воспоминания о нем. Добавлю, что он обычно сообщал доходившие до него слухи, тогда называвшиеся ОГГ (*«одна гражданка говорила»*). Так, помню его сообщение о речи Сталина 5 мая 1941 г., смысл которого в интеллигентской трактовке сводился к предупреждению: *«Вам предстоит развеять миф о непобедимости германской армии»*.

Мой учитель Б.А. Романов считал важной для историка жизненной школой поездку по железной дороге. Вероятно, он имел в виду российскую действительность. Помню его слова: *«Если ты пишешь о социальном, надо ездить поездом»*, сказанные о Ю.Я. Перепелкине, выдающемся египтологе, работавшем в 1950-е годы в нашем Ленинградском отделении Института истории, который, боясь инфекций, и по городу предпочитал ходить пешком. Переезд нашей семьи на восток по военной России в течение осени и зимы 1941 г. дал мне множество впечатлений не только железнодорожного характера. То, что можно было видеть в пути, на самом деле полно и ярко отражало происходившее вокруг. Зима уже наступила, когда мы оказались в Кирове. Здесь были эвакуированные из Москвы наркоматы — Наркомздрав, Наркомлес и Наркомпрос. В Наркомпросе отец ждал назначения, а в Наркомлес мы с ним носили передачи для его сидевшего в лагере старшего брата Л.И. Ганелина, многолет-

него сотрудника этого ведомства, посаженного в 1940 г. наркомом Госконтроля Л.З. Мехлисом. Бывшие коллеги заключенного через лесозаготовительные органы Гулага передавали ему приносимое. Затем стало известно, что передачи больше не нужны, причина этого оказалась не трагической, как это чаще всего бывало, а счастливой: арестанта выпустили и доставили в Москву, где он был включен в состав группы сотрудников наркомата, работавших чуть ли не в Кремле.

Киров, как и другие города, стоявшие у железнодорожного пути с запада на восток, и особенно их вокзалы, при вокзальные площади, станции и поселки стали наполняться поляками, западными белорусами и украинцами, евреями, людьми всех возрастов, вывезенными НКВД в северные лагеря с присоединенных к СССР польских территорий. После начала советско-германской войны они были выпущены по соглашению с польским эмигрантским правительством. (Депортированные таким же образом прибалты освобождены не были.) Их по-европейски яркая и слишком легкая для этих мест одежда подчеркивала их беспомощность и растерянность. Помню очередь перед булочной на одной из центральных улиц Кирова, состоявшую из «старых» и «новых» советских граждан. Хлеб кончился, и дверь заперли изнутри. Люди были подавлены и растеряны. И тогда польский еврей, набравшийся храбрости и провожаемый взглядами, в которых еще теплилась надежда, решил проникнуть в помещение через служебный вход. Выйдя оттуда, в почти молитвенном экстазе, словами трех языков — польского, русского и идиш — он произнес: *«Заведующий, Бог да найдет способ отблагодарить его и всю его семью, сказал, чтобы мы не расхотелись, может быть, привезут еще...»* Эта была страшная школа интернационализма голодных — не пролетарского, а вовсе бесклассового.

Из Кирова на восток мы ехали эшелонами. Состав из товарных вагонов, «теплушек», отапливавшихся «буржуйками», двигался в потоке таких же без расписания. Разумеется, остановки были случайными, чаще всего в чистом поле, и люди рассаживались на корточках рядом с вагонами, что-

бы удовлетворить нужду. Вдруг состав трогался, остававшимся в вагонах приходилось поднять лестницы и уже на ходу поезда за руки втягивать вышедших, не успевших подтянуть спущенные штаны.

Вместе с нами ехали мои двоюродные братья Э.Г. и Г.Г. Левины, позже ушедшие на войну, где Э.Г. Левин погиб при освобождении Литвы. В Свердловске наш эшелон был остановлен, по обыкновению, далеко от вокзала (забивать вокзальные пути эшелонами было невозможно), а эвакуопункт, где выдавали еду, помещался рядом с вокзалом. Было темное время суток. Пассажиры нашей теплушки разделились для поисков эвакуопункта на несколько групп. Когда мы с Г.Г. Левиным с ведерком манной каши на весь вагон вернулись к тому месту, где, как нам казалось, стоял наш эшелон, его там уже не было.

В течение нескольких дней мы попутными эшелонами добрались до Новосибирска (это было в порядке вещей, отставали от своих эшелонов многие). В Новосибирске я попал в сыпнотифозные бараки, заполненные ранеными, заболевшими сыпняком в госпиталях или по дороге. Оказалось, что сыпь, которой я покрылся от прокисшей каши (другой еды у нас не было), очень похожа на сыпнотифозную. Несколько дней, проведенных в солдатской палате, оставили незабываемую память о моих соседях, простых, умных людях, лишенных казенных официально-патриотических стереотипов вроде ненависти к немцам и т. п., но без обсуждения, как само собой разумеющееся, принявших обет стойкости в бою с ними. Летом 1944 г. наволжской пристани в г. Кинешме мне довелось видеть две группы в нескольких метрах друг от друга. Больных и раненых пленных обихаживали две фельдшерицы. А наши инвалиды доставали им воду и вели между собой философский разговор на тему «кто виноват». Молодой статный безрукий человек произнес: *«Никто — война»*.

Если перед войной я внимал устной партийной пропаганде, то с началом ее обратился к печатной. При райкомах партии существовали парткабинеты с довольно полным на-

бором газет и журналов, в том числе научных изданий гуманитарного профиля. В пустых читальных залах было чисто и тепло — вещь по тем временам не такая уж частая. В г. Бийске Алтайского края, где оказалась наша семья вследствие назначения отца заместителем директора тамошнего учительского института, парткабинет помещался неподалеку от нашего дома, и я проводил там немало времени. Помню, что читал журнал *«Мировое хозяйство и мировая политика»* — не только текущие его номера, но и за предыдущие годы. В этом органе Института мирового хозяйства и мировой политики во главе с акад. Е.С. Варгой не было, разумеется, никакой намеренной политической оппозиционности, но сотрудники института были настолько глубокими знатоками каждый своего предмета, что впоследствии, когда я, учась на истфаке ЛГУ, по предложению моего учителя проф. Н.П. Полетики слушал курс мирового хозяйства, очень интересно читавшийся на экономическом факультете проф. М.Ю. Бортником, многое казалось мне знакомым. Работы такого рода создавали, помимо прочего, представление о возможности и действенности научного анализа и на марксистской основе. Тем самым порождалось критическое отношение к остальной печатной продукции того времени.

В Бийском учительском институте преподавали приехавшие из Москвы яркие, образованные и скептически мыслящие люди — историк Александр Давидович Эпштейн, специалист по истории средневековой Германии, блестящий лектор, человек широчайшей образованности и большого природного ума, впоследствии преподававший на факультете международных отношений МГУ (затем — МГИМО) и литературовед Владимир Николаевич Кукушкин. Таких одаренных людей я редко встречал потом вообще, и среди деятельно и успешно работавших в науке в частности (не решаюсь написать — в особенности). Дело было не только в намеренном подборе кадров по принципу усредненности, при котором яркость личности и парадоксальность мышления вряд ли способствовали успешной карьере в сфере гуманитарных знаний. Существовало множество препятствий служебного и

издательского характера, часто житейского порядка, порождавшихся общим строем отношений в стране.

Частые встречи и разговоры с этими двумя людьми на самые различные темы способствовали моему методологическому созреванию, которое завершилось при комических обстоятельствах, сообщенных в начале настоящей главы. Ситуации, возникавшие в научной среде сами по себе или созданные академическим и партийным руководством, сочетались в их рассказах с демонстрацией научной уязвимости и искусственности внедрявшихся в научно-педагогическую практику «аксиоматических» положений.

Так, А.Д. Эпштейн поставил в моем представлении под вопрос теорию формаций, вошедшую отдельным параграфом в знаменитую философскую четвертую главу Краткого курса истории ВКП(б).

Рассказ В.Н. Кукушкина о старом большевике Миха Цхакая как мемуаристе своей ироничностью лишал правдоподобия каноническую картину революционной эпохи и вредил ее героическим образам. В 1938 г., рассказывал В.Н. Кукушкин, возглавлявший редакцию *«Истории гражданской войны»* И.И. Минц дал со ссылкой на Сталина установку: *«Ни одного участника гражданской войны без мемуаров!»* Их было, разумеется, еще немало, особенно таких, которые нуждались в литературной помощи. Студенты-старшекурсники, аспиранты МИФЛИ и гуманитарных факультетов МГУ получили возможность заработка записью устных рассказов и их литературной обработкой. В.Н. Кукушкину достался Миха Цхакая, который содержался в привилегированном подмосковном инвалидном доме. В.Н. Кукушкин приезжал туда со стенографисткой. Иногда тот уклонялся от **рассказывания**, ссылаясь на отсутствие вдохновения (он говорил с грузинским акцентом: *«Дахнавэньянэт»*) и посылал приехавших погулять в сад, предлагая рубль на расходы (представление о деньгах он потерял). Когда же удавалось сесть за работу, он имел обыкновение начинать со своих отношений с Лениным и каждый раз в одном и том же ключе. *«Приходит ко мнэ Владимир Ильич, — произносил он, — и я ему говорю: что-то ти тут напутал...»*. В.Н. Кукушкин и сте-

нографистка договорились, что по его знаку она будет прерывать запись. Но однажды М. Цхакая заметил это и заявил: *«Ты, молодой человек, рукой нэ махай, а ти, барышня, пиши, и нэ крючки, а русские буквы: Цхакая Ильичу говорит: “Что-то-ти тут напутал”»*.

Таким причудливым способом я получил начальную не только общеисторическую, но и специально источниковедческую подготовку. Может возникнуть вопрос о причинах такого доверия ко мне, школьнику, со стороны только что познакомившихся со мной людей. Расправы предшествовавших лет, разумеется, воспитали в интеллигентской среде значительную осторожность в общении, но эта осторожность носила не безоглядный, а избирательный характер. Выбор собеседников совершался по целому ряду признаков, но по преимуществу интуитивно. Случавшиеся ошибки, несмотря на трагические последствия, не приводили, по моим воспоминаниям, к большой **сдержанности**.²⁴ Отношение моих собеседников ко мне поначалу определялось, по-видимому, репутацией моего отца, безупречность которой сомнений у них не вызывала.

Осенью 1943 г. Яоказался в Москве и столкнулся с последствиями принятого в октябре этого года под председательством Сталина партийного решения об ограничении роли евреев в различных областях жизни страны. Как это ни странно, но воспитанная в нерушимо интернационалистском духе интеллигенция была взволнована слухами об этом, пожалуй, сильнее, чем процессами и расстрелами 1930-х годов.²⁵

²⁴ И это несмотря на то, что аресты продолжались. Помню, как я, получив в институтской столовой обед, перед тем как нести его домой, гремя кастрюлями, вошел в директорский кабинет за пирожком, полагавшимся отцу как исполнявшему обязанности отсутствовавшего директора. Вслед за мной без стука в кабинет вошли двое, с порога задав вопрос: *«Как идет работа?»* — *«Вы за кем?»* — ответил отец. Оказалось, что пришли за институтским бухгалтером Карнауховым.

²⁵ Моему отцу рассказал о партийном решении знакомый с ним Д.И. Заславский, к которому он обратился по инициативе не столь-

С весны 1943 г., по наблюдениям И.Г. **Эренбурга**, возобновилась общая «строгость» (он связывал это с победой в Сталинградской битве). Но «строгость» была какая-то неполная. Так, к моему отцу пришла по делу заместительница декана истфака МГУ (кажется, фамилия ее была Рубина) и с иронией рассказала, что с поступлением на факультет С.И. Аллилуевой все преподаватели марксизма-ленинизма отказались читать лекции на ее курсе. Каждый из них с ужасом представлял себе, что **отец** этой студентки заглянет в ее конспекты. Положение спас своим согласием старый большевик В.Г. **Юдовский**.

Во всяком случае в репертуаре московских разговоров этого времени еврейская тема заняла свое место.

Не могу теперь признать себя подготовленным тогда к такому развитию событий. Но хорошо помню, что когда ле-

ко собственной, сколько проявленной его коллегами, учеными педагогами и психологами. Они искали объяснения инцидента с крупнейшим психологом С.Л. Рубинштейном. 29 сентября 1943 г. он первым среди представителей этой науки был избран членом-корреспондентом АН СССР. Тем не менее его не оказалось в утвержденном правительством первом составе учрежденной в начале октября Академии педагогических наук РСФСР. В среде специалистов память об этой истории сохранилась даже через полвека. Несколько лет тому назад меня расспрашивал о ней ученик С.Л. Рубинштейна директор Института психологии РАН А.В. Брушлинский, трагически погибший от руки **килера**. В 1963 г. секретарь Ленинградского горкома КПСС Ю.А. Лавриков, излагая выступление Н.С. Хрущева перед творческой интеллигенцией, в котором он полемизировал с Е.А. Евтушенко по еврейскому вопросу, упомянул, что Хрущев не только сослался на октябрьское решение Политбюро 1943 г., но и подчеркнул, что его никто не отменял. Впрочем, известно, что на самом деле некоторые ограничения начались еще в 1937–1938 гг. И.Г. **Эренбург** отмечал меры, относящиеся к весне 1943 г. Политработников высокого чина в армии и военных юристов стали заменять в 1942 г. Мой друг старый солдат И.З. **Кадсон** рассказывал об одном дивизионном политработнике-еврее, глубоко переживавшем свое смещение, но вознагражденном назначением на равный пост в дивизии, сформированной уже в Германии из венерических больных.

том 1944 г. декан факультета международных отношений МГУ проф. И.Д. Удальцов (брат медиевиста члена-корреспондента АН СССР А.Д. Удальцова и отец славяноведа И.И. Удальцова, впоследствии дипломата и партийного работника) в очень осторожных выражениях, как мне показалось, сам несколько сконфуженный, дал мне понять, что меня к ним не примут,²⁶ я не был этим так уж потрясен. Во всяком случае то, что я увидел, выйдя на улицу, произвело на меня не меньшее впечатление, чем слова декана. По середине дороги вооруженные пистолетами люди в штатском вели интеллигентного вида арестанта. В сущности, поражен я был только самой сценой, об арестах среди студентов мне было известно.

²⁶ Я был тогда студентом Института инженеров железнодорожного транспорта, и он сказал мне: «Молодой человек, не сжигайте своих кораблей».

В 1945 г., поступив на исторический факультет Ленинградского университета, я оказался в среде профессиональных историков, в которой пребываю почти 60 лет. Истфак блистал составом своей профессуры, среди которой были С.Н. Валк, Б.А. Романов, И.И. Смирнов, С.Б. Окунь, А.В. Предтеченский, Е.В. Тарле, В.В. Струве, Н.П. Полетика, А.И. Молок и др. Деканом был В.В. Мавродин, человек остроумный и не боявшийся повредить себе неортодоксальными высказываниями, по возможности доброжелательный по отношению ко всем окружающим и старавшийся толковать эту возможность предельно широко.

Обо всех этих выдающихся ученых существуют воспоминания и историографические труды, но особенность места и времени была в том, что собственных воспоминаний никто из них не оставил и, насколько известно, не писал. Исключение, подтверждающее причины этого, — воспоминания Н.П. Полетики о довоенных временах, написанные в Израиле и там же изданные. Задаваясь вопросом о причинах сдержанности наших учителей, я все больше вижу ответ в том, что жизнь уцелевших от расправ была в нравственном отношении, может быть, даже тяжелее, чем у пострадавших. С течением времени подлинный смысл и роковые последствия сказанного и написанного в вынужденных политических обвинениях друг друга в ходе так называемых «проработок» становились слишком очевидными.

Университет в целом и гуманитарные его факультеты особенно были в несколько привилегированном положении. Ректором был А.А. Вознесенский, профессор политической

экономии капитализма, читавший в актовом зале свой курс, в основе которого был Марксов *«Капитал»*, всем студентам-гуманитарам. Часто его заменяла Е.М. Виленкина, *«Маркс в юбке»*, как мы ее называли. Курс, хотя и читался двумя лекторами, был очень интересен. А.А. Вознесенский часто отвлекался ради очень поучительных житейских рассказов. Он был старшим братом члена Политбюро председателя Госплана Н.А. Вознесенского (*«персона нон грата, но брата»*, — острил Е.В. Тарле). Университет был для него домом, в котором он чувствовал себя хозяином. Вел он себя порой в полном противоречии с той манерой поведения, которая была присуща руководящим работникам идеологического, как тогда выражались, фронта.

Незадолго до назначения его министром просвещения РСФСР в 1947 г. он провел в университете грандиозную конференцию *«Наука, литература и искусство в новой сталинской пятилетке»* с приглашением знатных москвичей. Помню на перроне (я был в команде встречающих) явно смущенную Маргариту Алигер и Л.М. Суббоцкого, литературного критика, секретаря Союза писателей. Одетый в полувоенное, он произвел на меня хорошо запомнившееся то ли жалкое, то ли даже трагическое впечатление. Только через много лет я узнал, что в самые страшные годы он был одновременно секретарем оргкомитета Союза писателей и помощником главного военного прокурора, участвовавшим в допросах М.Н. Тухачевского и других «военных заговорщиков», но уклонившимся от присутствия на их расстреле. Его за это арестовали, но вскоре выпустили. Выступлений М. Алигер и Л.М. Суббоцкого я не помню, вероятно, не был на них.

Среди приехавших был и упоминавшийся Д.И. Заславский, к которому я был приставлен в качестве то ли вестового, то ли поводыря (он плохо видел). Б.А. Романов специально приехал, чтобы послушать его речь, но я не помню в ней фельетонной остроты и парадоксальности. Сопровождая Заславского, я оказался на заседании в оперной студии консерватории в той ложе, где находилось начальство, и ус-

лышал очень характерный для тогдашнего нашего ректора его разговор с В.В. Мавродиным. После блестящего доклада музыковеда Л.А. Энтелиса Вознесенский спросил Мавродина: *«Почему Энтелис не работает на искусствоведческом отделении исторического факультета?»* Мавродин объяснил, что там занимаются только изобразительными видами искусства. *«Меня это не интересует, — ответил Вознесенский, — если в городе есть человек такой высокой одаренности, он должен быть профессором нашего университета».*²⁷

Вероятно, не без влияния такого взгляда ректора на искусствоведческом отделении был введен курс истории кино, который читал Л.З. Трауберг. На заседании университетского Ученого совета, как рассказывал мне присутствовавший там мой отец, с возражениями выступил известный химик, член-корреспондент АН СССР И.И. Жуков (сын фабриканта, производившего до революции знаменитое жуковское мыло). *«Кино — не наука», — заявил он. «Было время, когда Ваша химия была такой же не наукой, как сегодня кино», — возражал ему М.А. Гуковский. «Вот когда кино станет такой же наукой, как сегодня химия, производите Трауберга в профессора, — стоял на своем Жуков. — А то Вы еще откроете в университете кафедру цирковой клоунады».*

Лекции Трауберга пользовались большим успехом, из числа моих однокурсников-искусствоведов несколько человек стали профессиональными «киношниками».

Но обращаюсь к историографической ситуации первых послевоенных лет. Сложившееся с середины 1930-х годов своеобразное сосуществование принципа социально-экономических формаций как основы изучения и преподавания

²⁷ Наряду с этим мне известен случай, когда ректор отказал в приеме на работу в университет преподавательнице французского языка из-за отсутствия у нее советского высшего образования (она училась во Франции). А.А. Вознесенский, как и его брат, стал жертвой «ленинградского дела». По сведениям известного журналиста Л.И. Сидоровского, он был забит до смерти двумя членами Политбюро.

всемирного исторического процесса и осторожной, но усиливавшейся патриотизации как одного из средств конструирования подхода к отечественной истории получило в недавние годы высокую оценку в историографических работах видных советских историков — Я.С. Лурье и эмигрировавших А.П. Каждана и А.С. Кана. Как известно, летом 1944 г. в ЦК ВКП(б) состоялось продолжавшееся не один день совещание историков, которое явилось результатом сопротивления державно-патриотическому началу, оказанного с традиционно интернационалистской позиции А.М. Панкратовой. В этой позиции было много справедливого, поскольку натиск «державников» носил несколько неумеренный характер, однако строить изучение истории России, как и любой другой страны, на основе национального нигилизма в духе М.Н. Покровского было, в сущности, невозможно. В результате совещания существенных сдвигов не произошло; реальные результаты его состояли в том, что на главных его участников независимо от их точки зрения Управлением пропаганды и агитации ЦК были составлены секретные характеристики компрометирующего их содержания. Но вскоре после окончания войны та историографическая стабильность, которая теперь представляется упомянутым авторам благотворной для исследовательских и преподавательских интересов и действительно в какой-то мере была таковой, оказалась в глазах опытных и наблюдательных современников под угрозой. Помню доклад Е.Н. Городецкого, ведавшего в ЦК исторической наукой, состоявшийся в 1946 г. в ЛГУ. Я возвращался с него вместе с отцом и А.И. Буковецким, профессором-экономистом, консультациями которого я и мои коллеги по работе в Ленинградском отделении Института истории АН СССР широко пользовались во второй половине 1950-х годов после его возвращения из лагеря. Оба были довольны и несколько удивлены докладом. Как мне сейчас представляется, в нем была попытка необходимого, в соответствии с требованиями времени, сохранения предвоенного баланса между общесоциологическим и национально-патриотическим началами.

Я сказал бы, что в течение примерно двух с половиной лет после войны продолжалась та возникшая в предвоенные годы ситуация, которую упомянутые авторы рассматривали как во многом благоприятную для развития исторических знаний и исследований. На истфаке была создана кафедра истории международных отношений и внешней политики СССР во главе с Н.П. Полетикой, у которого я начал специализацию. Создание этой кафедры с ним во главе было проявлением такого либерализма, который должен был считаться недопустимым. Мало того, что Н.П. Полетика был беспартийным, он выступил в первой половине 30-х годов с двумя блестящими монографиями, посвященными происхождению Первой мировой войны — *«Сараевское убийство»* (193 г.) и *«Возникновение мировой войны»* (1935 г.). Виновниками войны он считал Россию и Антанту, а не Германию. В понятиях социалистической идеологии 1914—1918 гг. и последующих лет это был впоследствии воинственно отстаивавшийся М.Н. Покровским большевистский, а не меньшевистский взгляд на дело. На противоположной позиции стоял Е.В. Тарле, который после возвращения из ссылки пользовался покровительством Сталина. К тому же мнение о виновности германской стороны соответствовало проводившейся в порядке пропагандистской подготовки к новой войне патриотизации.

Письмо Сталина о статье Энгельса *«О внешней политике русского царизма»*, обращенное к членам Политбюро в 1934 г., казалось, должно было нанести удар по Н.П. Полетике, но оно оставалось неопубликованным и не воспрепятствовало выходу в свет второй его монографии. В недавние годы известный балканист Ю.А. Писарев подверг сомнению некоторые из тех отношений вокруг балканских событий накануне войны, на которые Н.П. Полетика ссылался в подтверждение своей точки зрения. Но Е.В. Тарле этого не делал, будучи как оппонент Полетики довольно пассивен. Он в 40-е годы подолгу бывал в Ленинграде, имея квартиру и в Москве, его публичные лекции собирали толпы слушателей, он принимал активное участие в работе кафедры новой

истории, которой заведовал проф. А.И. Молок, крупнейший специалист по истории Франции. Е.В. Тарле придавал кафедре новой истории блеск. Его собственно преподавательская деятельность была минимальной и сводилась к встречам со студентами. По поводу однажды принимавшегося им экзамена ходил анекдот о студенте, мастере историко-биографических экспромтов, всякий раз начинавшихся словами: *«Он был сыном бедных, но честных родителей»*. Расскажите о Конвенте, попросил его Е.В. и, выслушав яркую типовую биографию, задал дополнительный вопрос о жене Конвента. А кафедра Н.П. Полетики существовала рядом, не встречая до поры до времени административного противодействия, хотя была крайне малочисленной.

Тучи над головами историков, однако, сгущались. Постановление о журналах *«Звезда»* и *«Ленинград»* было предостережением для всех гуманитариев, хотя далеко не все и не сразу это поняли. Лет десять тому назад мы с ныне покойным Ю.А. Молоком, младшим сыном А.И. Молока, блестящим и глубоким человеком, окончившим искусствоведческое отделение *истфака*,²⁸ с запоздалым удивлением вспоминали, как знакомые профессора радовались тому, что вместо арестов дело обошлось почти отеческим вразумлением, произведенным Ждановым, подчеркивавшим к тому же свое расположение к тем, кто в Постановление не попал.

В 1947 г. Б.А. Романов, с которым я в то время познакомился, считал для исторической науки губительным, если не гибельным, создание Академии общественных наук ЦК ВКП(б). К счастью, это опасение в полной мере не оправдалось. Она не стала научным центром, а сосредоточилась на подготовке научных кадров с партийной закалкой. Хотя многие ее выпускники в основном занимались «наведением идейности», некоторые из них стали квалифицированными научными работниками. Кроме того, на ее исторических кафедрах видная роль принадлежала ученым Института исто-

²⁸ См. о нем: *Глоцер Владимир*. Юрий Молок. [М., 2000].

рии БД. Грекову, А.М. Панкратовой, А.Л. Сидорову, Е.М. Жукову, Л.М. Иванову и др. Они сумели в какой-то мере отстоять права исторического источника перед всеокрушающим натиском «методологии».

Создание АОН было не единственной мерой, принятой для усиления идеологической строгости. Одной из них было издание газеты *«Культураи жизнь»*, помещавшей разгромные рецензии. Ее называли *«братской могилой»* или *«Александровским централом»* (по фамилии заведовавшего Управлением пропаганды и агитации ЦК Г.Ф. Александрова).

Не знаю, как у других, но у меня все эти обстоятельства и оценки их окружающими, хотя оценки эти бывали различными, вызвали стойкое скептическое отношение к партийной линии и всему тому, что она выражала. Никак не могу с полной точностью вспомнить, когда и при каких обстоятельствах я познакомился с двумя москвичами, бывшими между собой в течение многих лет в тесных дружеских отношениях. Это были Николай Александрович Ерофеев и Яков Михайлович Свет, ставшие на десятилетия моими старшими друзьями. Помню, что это было не позднее 1946 г. Кажется, знакомство произошло сначала с одним Я.М. Светом в генеральном каталоге ленинградской Публички у одной из самых квалифицированных *«отметчиц»* иностранного каталога Доры Ароновны Корховой. Мы стояли или сидели каждый со своим каталожным ящиком и вдруг заговорили друг с другом. Не сразу, скорее всего, даже не при первой встрече, добрались мы до того, что Я.М. — единоутробный брат А.Д. Эпштейна. Яркость натуры их объединяла. По специальности Я.М. Свет был геологом, но, обладая блестящей языковой подготовкой, писал и печатался по истории великих географических открытий, занимался Колумбом и другими мореплавателями. То, что им опубликовано, оказалось чрезвычайно существенным для развития у нас этой отрасли знаний. Служил он после демобилизации (еще до начала войны на Дальнем Востоке он был во время советско-японского противостояния тяжело ранен в руку) в Издательстве иностранной литературы в качестве заместителя заведую-

шего редакцией геологии. Однако, по моим впечатлениям, роль его в этом издательстве, созданном в качестве форточ-ки в опускавшемся железном занавесе, была более значительна. Энциклопедически образованный, с внешностью Э. Идена и необыкновенным барственным голосом, артистически державшийся, с ироническим взглядом, человек неиссякаемого остроумия, он был в центре дружеской компании сотрудников различных редакций этого издательства, очень умных и интеллигентных людей. С детских киевских лет он дружил с Виктором Платоновичем Некрасовым, о чем тот написал в *«Новом мире»* незадолго до эмиграции. Они были и внешне похожи друг на друга.

Помню рассказ о его дежурстве по издательству, кажется, недельном, с целью первичного отбора возможной для перевода поступившей литературы. По поводу различных книг звонили по телефону влиятельные покровители переводчиков и групп их. *«Что Вы скажете об этой книге?»* — звучал вопрос. *«Г...но»*, — отвечал Я.М. *«Значит, о переводе не может быть речи?»* — огорченно удостоверился звонивший. *«Кто Вам сказал?»* — громовым голосом вопрошал Я.М. *«Но Вы ведь сказали: г...но...»* — *«Сказал и повторяю: это г...но, которое нам нужно!»* — отмечает он упадочное настроение своего собеседника, — *переводить будем срочно, присылайте Ваших людей»*.

У Я.М. Света были свои многочисленные связи в литературной Москве, которая всегда жила общественными интересами и уж там-то произносилось вслух, и не только вполголоса, не меньше, чем писалось. Помню его рассказы о двух тостах А.Н. Толстого, позволявшего себе еще в Ленинграде, а затем и после переезда в Москву такие шутки, которые ярко характеризовали эпоху. После отмены входившего в состав гонорара драматургов **поспектакльного** сбора Толстой устроил прием в *«Европейской»*, где заявил, что со времени отмены крепостного права его род не переживал удара такой силы. А в Москве на банкете по поводу юбилея одной из канонизированных **мхатовских** актрис, проходившем в **неофициальной** обстановке, он вдруг самым торжественным образом провозгласил тост за Великую октябрьскую

революцию. «Она всех нас сделала *тем, кем мы стали*», — пояснил он свои слова и, обращаясь к юбиляру, спросил: «Вот Вы, кем были Вы до этой революции?» И сам ответив на свой вопрос наименее лестным для нее словом, заключил: «А теперь мы пьем за Вас как за обломок великой русской культуры».

По словам Я.М. Света, мысль о введении погон была подана во время войны А.Ю. Кривицким, служившим тогда в «Красной звезде», автором статьи в этой газете о героях-панфиловцах, которая повлекла за собой полемику через много лет после войны, заместителем К.М. Симонова в «Литературной газете» и в «Новом мире».

Среди друзей Я.М. Света в московской литературной среде был Илья Сац, в прошлом секретарь А.В. Луначарского (он был братом его последней жены Розенель), а затем — помощник А.Т. Твардовского в «Новом мире». Рассказы Я.М. Света о московских писательских собраниях времен «оттепели» были чрезвычайно выразительными. На одном из них он был свидетелем бегства через весь зал рыдающего А.А. Фадеева, когда вернувшийся из лагеря писатель представился членом организованной там подпольной партийной организации и заявил, что истинной коммунистической партией была она, а не та, членом ЦК которой был Фадеев.

Артистичность Я.М. Света придавала особый характер его речи.

Н.А. Ерофеев выглядел и вел себя иначе. За очень толстыми стеклами очков (слабое зрение было ухудшено фронтовой контузией, к концу жизни он ослеп) не разглядеть было выражения его глаз. Глубокий природный ум сочетался у него с богатым жизненным опытом. До войны он, как и будущий академик Е.М. Жуков, работал помощником известного журналиста-международника и историка А. Канторовича (Н. Терентьева), автора, в частности, очень интересной книги «Америка в борьбе за Китай». Когда Канторович был арестован из-за близости к Бухарину и Радеку, оба его молодых помощника предстали перед партколлегией. К счастью, все обошлось. Жуков, прошедший через чистилище благополучно, даже сделал успешную карьеру в науч-

ной и административной сферах, став в конце концов академиком-секретарем Отделения исторических наук. Н.А. Ерофеев получил партийный выговор чуть ли не за троцкизм, выговор этот, хотя и оставался долгое время не снятым, что влияло, конечно, на положение Н.А., худших для него последствий за собой не повлек, и он долгие годы работал в Институте истории АН СССР.

Н.А. Ерофеев был таким же крупным знатоком новой и новейшей истории Англии, как С.Б. Кан и А.С. Ерусалимский — Германии, А.И. Молок, Ф.В. Потемкин, В.М. Далин и А.З. Манфред — Франции. Особенно значительны его работы по истории имперской политики Англии.

Оба — Н.А. Ерофеев и Я.М. Свет — были мастерами облачать разговоры на профессиональные и общеполитические темы в шуточную форму и не боялись это делать с издевкой над действительностью. В Ленинград они часто приезжали вдвоем. Как-то раз они вышли из вагона с соседом по купе, которому представили меня. А он, протянув мне руку, сказал: *«Паша Ангелина»*. Мне объяснили, что это московский журналист, который жил тем, что по данному свыше указанию писал о П. Ангелиной и за нее. Помню, как однажды в гостинице *«Нева»* Я.М. Свет в театральной манере отчитывал пригорюнившегося Н.А. Ерофеева, который принимал такую позу, если появлялись тревожные признаки проработки. *«Товарищ Ерофеев недоперепонимает исторического значения решений партии о журналах “Звезда” и “Ленинград”, — строго, словно с трибуны, сидя на диване, на одном дыхании выпаливал Я.М., — о кинофильме “Большая жизнь”, о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению и об опере Мурадели “Великая дружба”»*. Вдох он позволял себе только после слова «дружба».

Сектором новой и новейшей истории в Институте истории, в котором работал Н.А. Ерофеев, заведовал академик А.М. Деборин. Для него, в не очень далеком прошлом «меньшевиствующего идеалиста», от которого произошла «деборинщина», этот пост был не так уж плох, но политического влияния для защиты сектора от обвинений и проработок у него не было. В 1948 г. сектор издал первый выпуск *«Трудов*

по новой и новейшей истории», оказавшийся последним. Последовала разгромная рецензия, и началась проработочная кампания. Все учреждения, имевшие отношение к новой истории (а в Москве их было немало), считали необходимым устроить у себя проработки объявленного порочным сборника, а все его авторы, в том числе А.С. Ерусалимский, критикой обойденный, — принимать участие в каждой из них.

Н.А. Ерофееву вменялись в вину методологические ошибки в статье об англо-американских отношениях во время Первой мировой войны. Не то чтобы он был этим так уж деморализован, хотя о старом выговоре забывать не следовало, но решено было, что текст самокритической речи составит Я.М. Свет, вместе с авторским коллективом совершавший паломничество по местам покаяния. Речь оказалась превосходной и, главное, действенной. На одном из заседаний, чуть ли не в Академии общественных наук, одна из влиятельных дам заявила, что до глубины ее души дошел голос партийной совести Н.А. Ерофеева. Тем сильнее был встревожен Я.М. Свет, когда в следующий раз он услышал, что Н.А. импровизирует. Оказалось, что шпаргалка от многократного употребления поистерлась на сгибах, а слабое зрение не давало Н.А. Ерофееву возможности разобрать поврежденные слова.

Это были подступы к «антикосмополитической» кампании в Москве, о которых я знал по рассказам. В Ленинграде же я, как и мои товарищи по историческому факультету, сам был очевидцем многого. Идеологическое наступление развертывалось по всем направлениям. В 1946 г. я сидел едва ли не на всех защитах дипломных работ. Помню слова доц. В.А. Овсянкина о работе Евгении Миллер (*«лучшее из всего написанного в советской литературе о колчаковщине»*), похвалы моему другу Иохиму Лившицу, а также особенно поразивший меня отзыв А.Н. Бернштама о работе Л.Н. Гумилева, пришедшего в университет из армии, в которую он попал прямо из лагеря. Бернштам был решительно не согласен с его работой, но дал ей высочайшую оценку. Тем не менее ни один из этих выпускников в аспирантуру не попал. Кроме 5-го пункта (национальность), в анкете были и другие...

Года через два после этого я был на кандидатской защите Л.Н. Гумилева. А.А. Ахматовой на защите не было, но Н.Н. Пунин, бывший профессором искусствоведческого отделения, присутствовал. Н.Г. Сладкевич в качестве ученого секретаря Совета прочитал характеристику, подписанную главврачом больницы им. Балинского, которую я привожу по памяти: *«Дана Гумилеву Льву Николаевичу в том, что он работает в психиатрической больнице им. Балинского. К книжному фонду относится бережно. Пользуется заслуженным авторитетом среди персонала и больных»*. Тогда же защищал диссертацию по искусствоведению Леонид Элькович, отец которого был расстрелян. В 1970-е годы я спросил Н.Г. Сладкевича, каким образом стали возможны эти две защиты, не Вознесенский ли, ставший министром просвещения РСФСР, их устроил. Мое предположение Н.Г. счел просто дилетантским, дав понять, что Вознесенского университетское начальство в таком вопросе не послушалось бы, и сообщил, что устроил дело Молотов. А вскоре после защиты «остепененный» Л.Н. Гумилев опять отправился в лагерь. Таковы были причуды того времени.

О борьбе за власть и влияние в Кремле мы знали довольно много. Муж моей двоюродной сестры конструктор Л.И. Вольперт рассказал мне об авиационном деле и поражении Маленкова. А торжество Маленкова над Ждановым с возвышением Лысенко на сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г., покаянным письмом Жданова-сына в *«Правде»* и связанное с этим новое общее наступление на «идеологическом фронте» носили гласный характер. Помню дошедший до меня, вероятно через Мавродина, исходивший от Вознесенских рассказ о том, как умер Жданов. Известно, что он находился в санатории на Валдае и имел все основания (дело происходило 30 августа) считать себя впадшим в немилость у Сталина, который, однако, послал Н.А. Вознесенского его проведать. Когда тот приехал, жена Жданова усомнилась в возможности визита — больной плохо себя чувствовал. Однако Вознесенский сказал, что приехал по поручению «хозяина», тогда она пошла к мужу, чтобы его подготовить, но стоило ей

сообщить о приезде посланца Сталина, как Жданова не стало. По-видимому, хороших для себя вестей он от гостя не ждал.

1948/49 учебный год (я употребляю это школьное обозначение времени потому, что в данном случае оно пригодно для датирования важнейших горестных событий общеполитического значения) был сезоном начала двух провокационных политических дел, завершившихся расстрельными так называемыми судами, которые в отличие от процессов 1930-х годов проводились в закрытом порядке.

Влияние каждого из этих дел, как и общее, совместное их влияние, ощущалось историками на собственной шкуре и вызывало суждения, отнюдь не совпадавшие с официальными оценками, тем более что на сей раз эти оценки, если и давались, то с неполной членораздельностью. Я имею в виду дело Еврейского антифашистского комитета и так называемое Ленинградское дело. Провокационный характер каждого из них мало у кого из моих тогдашних собеседников вызывал сомнения. Но собеседников по этому поводу было немного, ведь ни о том, ни о другом деле официально не сообщалось, и это затрудняло самое начало разговора. Я знал, что мой близкий друг А.Д. Дридзо — племянник арестованного С. А. Лозовского. Продолжая говорить друг с другом на разные темы, мы с ним об этом не заговаривали. Он даже обиделся на меня, но я ждал, что он первый скажет об этом.

Обстоятельства возникновения дела Еврейского антифашистского комитета мы связывали с переменой в политике Сталина по отношению к государству Израиль, происшедшей в 1948 г. вскоре после его создания, поддержанного советской дипломатией (об этом я писал в свое время в журнале *«Барьер»*). Были признаки того, что Сталин подумывал об отправке в Израиль добровольческого корпуса из советских евреев для создания там государства народной демократии. В качестве командующего называли генерала В.Я. Колпакчи, по национальности караима. В политотделах военных академий собирали заявления, причем подавшие их впоследствии не пострадали. Мой друг В.Я. Голант

(о нем и его похождениях на истфаке ЛГУ мне скоро придется рассказать подробно) декламировал составленное при его участии заявление инженер-полковника Рабиновича, состоявшее из одной фразы: *«В ответ на сделанное мне командованием предложение **принять** на добровольной основе участие в освободительной борьбе народа государства Израиль сообщая о своей готовности к такому участию, если партия и правительство сочтут его соответствующим интересам моей родины — СССР»*.

Существовало мнение, что Сталин переменял свое намерение, убедившись в ненадежности советских евреев вследствие бурного выражения ими своих симпатий приехавшей в СССР в качестве первого израильского посла Голде Меир. Похоже, впрочем, что эти симпатии были если не официально разрешенными, то вызванными попустительством самого Сталина, вероятно, намеренным. А затем он обрушился на советскую еврейскую общественность в соответствии со ставшими теперь известными заранее заготовленными материалами МГБ.

Мне запомнилось такое поначалу эпизодическое отражение всех этих космических явлений в событиях факультетской жизни. Я был то ли старостой, то ли организатором студенческого научного кружка по истории нового времени. Его руководителем должен был стать У.А. Шустер. Крупный специалист-славяновед (курс истории южных и западных славян незадолго до того стал читаться именно им на кафедре нового времени), коммунист, фронтовик, он был неожиданно отвергнут партийным бюро. Один из его членов, преподаватель марксизма-ленинизма, прямо объяснил мне отказ в утверждении У.А. Шустера его национальностью, добавив: занимались бы евреи своей древней историей... Не помню реакции самого У.А., но помню, что Р.С. Мнухина, тоже еврейка, доцент этой кафедры, бывшая во время войны секретарем парткома всего университета, реагировала хотя и возмущенно, но, как теперь говорят, с пониманием.

А вскоре на факультете произошел полный переворот. Открытие антикосмополитической кампании (мы видели в

ней одно из последствий ареста Еврейского антифашистского комитета) и начало ленинградского дела, как и на других факультетах университета, повлекли за собой проработки и чистки. В Москве на истфаке МГУ объектом критики явилась школа И.И. Минца в составе Н.Е. Городецкого и И.М. Разгона. *«Это люди партийные, — говорил мне В.В. Мавродин, — они к этому привыкли, и сами других критиковали, а вот Николай Леонидович Рубинштейн, это другое дело».*²⁹ Н.Л. Рубинштейн, профессор истфака МГУ, брат психолога С.Л. Рубинштейна, о котором я уже говорил, был автором великолепного курса русской историографии, изданного перед самой войной, подвергнутого шельмованию почти через 10 лет после этого.

Сам Мавродин был заменен на посту декана Н.А. Корнатовским, специалистом по советскому периоду истории СССР, человеком знающим и в молодости немало написав-

²⁹ Я познакомился с И.М. Разгоном в 1946/47 учебном году, когда он приехал в Ленинград со всем своим семинаром из МГУ, темой которого было Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. в Петрограде. Это был умный, образованный и яркий человек. Для прокормления в чужом городе требовалось при выезде с места постоянного жительства сдать продовольственные карточки и получить взамен так называемые рейсовые. Москвичи этого не сделали. По поручению секретаря истфаковского комсомольского бюро Ю. Мережинского я отвел их в университетскую столовую, знаменитую *«Восьмерку»*, многолетний директор которой Волков обещал помочь, в частности «безлимитной» квашеной капустой, с хлебом дело было хуже. И.М. Разгон повел всех в **особоторговский** (коммерческий) ресторан, дав телеграмму **жёне** о присылке телеграфным переводом всех сбережений, какие у них были. При встрече в *«Восьмерке»* он рассказал мне о том, что перед войной Минц и его команда способствовали докторской защите Б.А. Романова в ученом совете Института истории в Москве. Возможно, это было связано с тем, что еще в 1929 г. комиссия по премированию научных работ под председательством Минца премировала книгу Б.А. *«Россия в Маньчжурии»*. При этом автор был если уже не арестован, то накануне этого. Во всяком случае, Б.А. Романов говорил, что узнал о премии от следователя.

шим, но затем целиком сосредоточившимся на борьбе с чужими ошибками и за общую высокую идейность. Последним актом мавродинского деканства была защита упоминавшегося уже Вениамина Яковлевича Голанта. Человек этот до конца его жизни в 1974 г. оставался моим близким старшим другом и постоянным собеседником, и я должен поэтому рассказать о нем подробнее, тем более что история его диссертационной защиты имела в судьбе истфака чуть ли не роковое значение. Он был сыном инженера-электрика, владельца и сейчас существующего магазина электрических и радиотоваров у Пяти углов. Как нэпман отец его был арестован, выйдя из заключения, стал главным инженером **Александринского** театра и умер во время блокады. После его ареста его жена и сын получили комнату в большой коммуналке с окнами на расстоянии метра от глухой кирпичной стены. В комнате было тесно: Софья Вениаминовна (так звали мать Вениамина Яковлевича), приветливая и гостеприимная маленькая чистенькая старушка, хотя и считала себя советским человеком, употребляла слово «товарищ» и живо интересовалась современной жизнью, не могла отказаться от глубочайшей уверенности в том, что с тех пор, как большевики стали у власти, исчезли хорошие вещи, и старую одежду, *«буржуйские спорки»*, по выражению сына, не выбрасывала. Сам он спал в бывшем при комнате закутке на подшивках *«Правды»*. *«Чтобы голос партии не оставлял меня и во сне»*, — объяснял он это.

Тем не менее однажды ему пришлось прикинуться обладателем настоящей личной библиотеки. В фильме *«Незабываемый 1919-й»* матрос-чекист перед тем, как арестовать контрреволюционное собрание, проходившее под видом именин хозяйки дома, звонил по телефону православному батюшке, идилично музицировавшему вдвоем с матушкой, и просил справку насчет дня святой Ольги. Под влиянием этой незабываемой сцены В.Я. Голант, сидя у нас дома, заявил, что и ему нужна консультация кого-либо из Духовной академии по части африканских верований. Выйдя в коридор, он позвонил по общему телефону инспектору Акаде-

мии Л.Н. Парийскому, до того секретарю патриарха Алексия, и был направлен к заведующему кафедрой зарубежных вероисповеданий, если не ошибаюсь, проф. Николаевскому, который назвал ему ряд книг из академической библиотеки. Однако для работы в ней понадобилось разрешение ленинградского уполномоченного Совета по делам православной церкви А.И. Кушнарева. Тот отказал, заявив в самой светской форме, что ему неловко, но академическая библиотека, в сущности, личная. *«Чтобы Вы сказали, если бы я просил разрешения пользоваться Вашей личной библиотекой?»* — спросил он. *«Моя библиотека к Вашим услугам, — отвечал Голант, — когда вас ждать, Александр Иванович?»* Но непреклонность вежливого уполномоченного преодолеть таким образом не удалось.³⁰

Голант очень берег свою мать (брат его, химик, погиб в Гулаге), но в выражениях и манере поведения не стеснялся ее. Однажды я привел *«на гоп»* (так В.Я. называл визиты к себе домой) А.А. Фурсенко за консультацией в переводе.

³⁰ Его коллега, опекавший в Ленинграде неправославные конфессии, Н.М. Васильев, ответил евреям, пришедшим просить о легализации молельни в частной квартире поблизости от Суворовского пр., поскольку до синагоги на Лермонтовском пр. им не дойти, а ездить по субботам на трамвае нельзя по религиозным канонам: *«Легализовать молельню я не могу, но помощь верующим — мой долг. Передайте им, что тов. Васильев всем разрешил ездить по субботам на трамвае»*. Впрочем, Кушнарева ожидало некоторое отщепенство. Поехав в Таллинн, Голант отправился в лютеранскую консисторию, где некоторые книги из консисторской библиотеки пасторы даже дали ему с собой. В разговоре выяснилось, что они очень хотели бы побывать в Ленинграде, но боятся, что не попадут в гостиницу, жить же на частных квартирах им не подобает по сану. *«Всех устрою в гостиницу»*, — пообещал В. Я. Голант. Через некоторое время пасторы приехали. Голант позвонил Кушнारेву и, представившись дежурным по Балтийскому вокзалу, заявил, что в обкоме партии сказали, что устройство приехавших — дело Кушнарева. В его официальные функции это действительно входило, и ему пришлось с большим трудом их на сей раз исполнить.

Во время работы подошла Софья Вениаминовна с печеньем и конфетами на тарелочке. *«Угощайтесь, товарищ Бурченко»*, — пригласила она. Гость благодарил, но не взял сразу угощения. Тут раздался крик Вениамина Яковлевича: *«Мать Вашу...! Если старушка-божий одуванчик Вас угощает, то какого... Вы»* и т. д. Старушка же, умиленно улыбаясь, заявила: *«Если бы он выражался иначе, это не был бы мой сын»*.

Когда ему говорили, что он слишком свободен в телефонных разговорах, он отвечал: *«Я знаю, что прослушивают дамы, а я говорю такое, что ни одна дама выдержать этого не может»*. Впоследствии выяснилось, что эту службу, действительно, несло много женщин и даже возглавляла дама в генеральском звании.

В.Я. Голант получил в частном учебном заведении нэповских времен великолепную языковую подготовку (истфак он окончил заочно). На войне он был разведчиком, журналистом под псевдонимом *«солдат Ваня»*, а затем занимался прослушиванием радиовещания противника, союзников и нейтралов. Его записи и обзоры очень ценил командующий (фамилии его он не называл), который поступавшими из Москвы материалами такого рода, по-видимому, не был удовлетворен. Командующий стал даже посылать туда материалы Голанта. Все это продолжалось в Вене и после окончания войны. Голант в звании сержанта переводил и переговоры советского командования с союзным. Чтобы отложить его демобилизацию, ему был дан офицерский чин (*«не столько высокий, сколько длинный»*, — говорил он) гвардии младшего лейтенанта административной службы. Одновременно прибыло письмо из Москвы из **Разведуправления** от подполковника Люси Семеновны Покровской, известной деятельницы советской разведки, с предложением ему о поступлении туда на службу в качестве вольнонаемного и целым пакетом бланков многих подробных анкет. По словам В.Я. Голанта, он ответил, что польщен предложением, но не может его принять, так как, будучи человеком молодым и еще не женатым, имеет обыкновение пойти в кино с мало ему знакомой девушкой. Спрашивать же ее при этом,

как того требовали присланные анкеты, играла ли ее бабушка на скрипке и, если играла, то что именно, он не может в силу полученного воспитания. Жившая впоследствии в Ленинграде Л.С. Покровская, как говорили, подтверждала, что ответ этот стал достопримечательностью ведомства и передавался от одного его начальника к другому...

После войны В.Я. Голант занимался публицистикой, переводами, сотрудничал в газете «*Moscow News*», издававшейся для англоязычного мира под редакцией М.М. Бородина (Грузенберга), старого большевика, пытавшегося делать революцию и в Америке, и в Китае, погибшего в Гулаге в начале 1950-х годов. Общественный темперамент В.Я. был направлен на сохранение профсоюзной группы, существовавшей при Ленинградском отделении Союза писателей, для тех лиц, которые нигде не служили, зарабатывали литературным трудом, но в Союзе писателей не состояли. Членство в профгруппе, как и в Союзе писателей, давало право на штамп в паспорте с указанием места работы, спасавший от объявления тунеядцем и связанных в этом последствий. Такую же профгруппу в Москве Я.М. Свет называл «*хедер имени Цивы Маркиш*» (она была профоргом). В.Я. Голант же стремился к тому, чтобы ленинградская профгруппа возглавлялась признанным членом Союза нееврейского происхождения. На протяжении некоторого времени эту роль играла известная поэтесса Елена Вечтомова. Много позже, став членом Союза, В.Я. продолжал тем не менее состоять в профгруппе и заботиться о соблюдении дисциплины ее членами, считая ее существование необходимым «при любой погоде». Однажды он пришел на профсоюзное собрание и в гардеробе Дома писателя встретил уходившего В.Е. Львова, также состоявшего в профгруппе.³¹ Будучи человеком несдержанного поведения, Голант набросился на него: «*Почему Вы уходите с профсоюзного собрания?*» — «*Что Вы ко мне пристали,*

³¹ В.Е. Львова не принимала в Союз писательская общественность, возмущенная критикой А. Эйнштейна как идеалиста, которой он занимался с благословения инстанций.

как банный лист?» — огрызнулся Львов. «А Вы знаете, к чему банный лист пристает?» — парировал вопрос Голант.

Возглавлявший Ленинградское отделение Союза писателей А.А. Прокофьев через некоторое время пришел с очередным визитом в обком партии. Очень ценивший тишину в своем «хозяйстве», он на вопрос куратора, что нового в Союзе, со спокойным и радостным ощущением наступившей передышки в «идеологической борьбе» ответил: «Слава Богу, все спокойно». — «Унасдругие сведения», — возразил тот, — в вестибюле Дома писателя один писатель другого ж...й обозвал». По-видимому, сообщение, которое было получено в Смольном, было составлено без эвфемизма...

Но вернусь к началу 1949 г. В.Я. Голант занимался историей колониальной политики европейских держав в Африке. Н.П. Полетика и крупнейший африканист Д.А. Ольдерогге относились к его работе с вниманием и интересом. Оба они выступили в качестве официальных оппонентов на защите его кандидатской диссертации, посвященной покорению Германией африканских племен. Я не был на этой благополучно прошедшей защите, но сейчас же после нее произошла смена декана, и возглавивший факультет Корнатовский добился ее повторения. Против диссертанта были выдвинуты идеологические обвинения, в частности в расизме, на том основании, что в диссертации (вероятно, в цитатах из документов того времени) фигурировало слово «чернокожие». На второй защите я был. Она проводилась в форме приведения к присяге всего состава Ученого совета. Н.Я. Иванов, ставший подручным Корнатовского (о судьбе их обоих — ниже), произнес обращенную к Голанту речь о том, что претензии по поводу расистского характера его диссертации не обращены против него лично, поскольку он заслуженный участник войны. Корнатовский громовым голосом допрашивал оппонентов, настаивают ли они на своих положительных отзывах. Помню, как совершенно раздавленный Д.А. Ольдерогге, выходец из старой офицерской семьи, сначала сказал «да», а затем выдавил из себя «нет». А Н.П. Полетика не сдался: «Разве не Маркс говорил о пре-

вращения Африки в заповедное поле охоты на чернокожих?» — вопрошал он. И добавлял: *«Если Вам мало Маркса, вот слова "чернокожие" в речи министра иностранных дел Вышинского»*.

Все было тщетно. Каждый из членов Совета должен был осудить диссертацию и высказаться против присуждения степени. Однако В.В. Струве, знавший диссертанта и хорошо к нему относившийся, мягко, но внятно сказал, что тот некоторое время уже чувствовал себя кандидатом, и это следует иметь в виду. Вероятно, то была форма сопротивления крайностям Корнатовского со стороны влиятельного и административно ему не подчиненного лица. Как-никак Струве был участником выработки теории формаций, а его кафедра истории Древнего Востока была на восточном факультете, хотя на историческом он читал лекции и состоял в Ученом совете. А вскоре заведовавший кафедрой новой истории Востока Г.В. Ефимов, как только его кафедра была переведена на восточный факультет, хотя он также высказывался против присуждения степени на втором заседании совета истфака, пригласил Голанта защищать диссертацию на восточном факультете.³²

Корнатовскому следовало бы обратить на это внимание (о предложении Ефимова он мог, впрочем, узнать далеко не сразу). Но он продолжал гнуть свою линию. Казалось, что ему это удавалось. В газете *«Вечерний Ленинград»* появилась статья

³² Я был на третьей защите на восточном факультете. Помогая В.В. Струве снять пальто, Голант сказал: *«Мои защиты стали для Вас своеобразным ритуалом»*. Струве ответил: *«Одиссей по сравнению с Вами не был страдалец»*. Был задан вопрос, пользовался ли диссертант восточными языками. Но они были на самом деле не нужны, и защита прошла благополучно. Впрочем, в ВАКе появился разгромный отзыв тогдашнего партийного лидера африканистики И.И. Потехина. Но, к счастью для диссертанта, тот счел неуместным включение в работу какого-то высказывания Сталина и потребовал его вычеркнуть. Голант заступился в своем ответе за честь Учителя, как мы саркастически называли Сталина между собой, и был в степени утвержден.

К.М. Колобовой о том, что профессор Корнатовский наведет на истфаке большевистский порядок. В буфете, где сосиски ели ложками, действительно, появились вилки. Сам новый декан ездил в Москву, как говорили, читать лекции в Высшей партийной школе вместо отстраненного Минца, и т. п.

Звездным его часом была проведенная весной 1949 г. общефакультетская антикосмополитическая конференция, незабываемая для всех, кто на ней присутствовал. Почти каждый из наших учителей должен был выступить с признанием собственных антипатриотических или иных методологических ошибок или с обличениями в таковых коллег, иногда известных только по литературе. Вспоминать об этом до сих пор неловко. Некоторые пускались на ухищрения, иногда достигавшие цели. А.И. Молок свел недопустимость предоставления трибуны враждебной идеологии к тому, что кавычки не могут спасти читателя от заключенных в них вредных мыслей. *«Мы переоцениваем значение кавычек»*, — восклицал он. Как-то очень удачно выступил С.Б. Окунь, восславивший, насколько я помню, Кутузова и этим ограничившийся. Как и на «перезащите» В.Я. Голанта, было нечто примечательное в речи В.В. Струве. Он начал в своей обычной законопослушной³³ и даже самоуничтожительной манере с того, что считает необходимым учиться марксизму и учиться ему у всех, включая своих собственных учеников, и младших, студентов, и старших, среди которых, продолжил он совсем другим, окрепшим, вовсе не тонким, как вначале, голосом, есть лица, занимающие очень видное положение. Он имел в виду Ю.П. Францева, бывшего ленинградца, делавшего административную карьеру в Москве, который стал заведовать Отделом печати Министерства иностранных дел.

³³ В 1947 г. на заседании Ученого совета Института им. Герцена, посвященном 30-летию Октябрьской революции, А.Б. Беркевич в докладе процитировал листовку 1917 г., кончавшуюся словами: *«Вся власть Советам!»* Сидевший в президиуме В.В. Струве встрепенулся, встал и заплодировал.

Корнатовский, по-видимому, не воспринял заключительную фразу речи Струве как предостережение. Помню, что его собственная речь выходила за пределы общепринятых формулировок. *«Космополиты, — провозглашал он, — это троцкисты, бухаринцы, зиновьевцы»*. У меня не было тогда, как нет и сейчас, никаких оснований считать, что «антикосмополитическая» конференция повредила новому декану, хотя в 1970 г. корреспондент ТАСС А. Р. Виноградов рассказал мне, что из Москвы тогда, в 1949 г., затребовали об этой конференции очень подробную информацию при явном отсутствии намерений помещать сообщения о ней в газетах. Возможно также, что проведенная в апреле с большим и претенциозным размахом конференция несколько запоздала. Считалось тогда, что 31 марта 1949 г. М.А. Суслов распорядился антикосмополитическую кампанию то ли ослабить, то ли приглушить.

С большей определенностью можно утверждать, что Корнатовскому повредил инцидент на состоявшемся примерно тогда же комсомольском собрании. Такие общефакультетские собрания бывали нечасто. То, о котором идет речь, было, вероятно, связано с переменой в деканате и политическими событиями. Речь Корнатовского была довольно обычной, его строго обвинительная фраза о том, что студенчество плохо знает жизнь армии и флота, на последнем слове была прервана смехом: наши девушки жизнь курсантов морских училищ им. Фрунзе и Дзержинского знали не так уж плохо. А студент М. Чигринский, очень честный и эмоциональный человек, послал оратору неподписанную записку: *«Перестаньте пороть чепуху»*.

Трудно передать, что тут произошло. Н.Я. Иванов кричал из президиума, что автор записки будет установлен с помощью органов МГБ. Началась самостоятельная графологическая экспертиза. Из каждого ряда лектория по одному человеку оказалось в президиуме, где им была показана записка. Когда и при каких обстоятельствах именно они были отобраны для этого или других такого рода поручений, оставалось «за кадром», как и то «рыбье слово», которым они были вызваны в президиум. Разглядев записку, они верну-

лись на свои места, а нам всем было предложено предъявить им для сопоставления конспекты и прочие рукописи. Растерянное лицо девушки из нашего ряда, которой мы показывали довольно жалкие клочки записей, я помню до сих пор. Разумеется, проведенная таким домашним способом экспертиза результатов не дала.

Тогда решено было под контролем тут же созданной комиссии проследить весь путь записки в обратном направлении. Кажется, не удавалось и это. Но тут М. Чигринский встал и заявил, что записку послал он. Мы считали, что его ожидало в лучшем случае исключение из комсомола и из университета. Однако, к удивлению многих, дело обошлось минимальным взысканием. Говорили, что в горкоме партии (уже не Попков, а В.М. Андрианов возглавлял ленинградскую парторганизацию) были поведением истфаковского начальства на комсомольском собрании недовольны.

В сопоставлении с тем, как вел дело возглавлявший антикосмополитическую кампанию в общегородском масштабе А.Г. Дементьев, истфаковцы выглядели плотниками рядом с искусным столяром-краснодеревцем. Это был наш преподаватель русской литературы, умный и знающий человек. С подчеркнутым оканьем он говорил обо всех русских писателях и литераторах, о которых это возможно было сказать, что они поповичи. Мы задумывались, не попович ли он сам. Как-то сразу он стал заведовать кафедрой советской литературы, сектором печати в горкоме партии, оказался одним из руководителей ленинградской писательской организации и журнала «Звезда». Мне казалось, что в его отношении ко всему тогда происходившему и собственному в нем участию был элемент цинизма. Недаром переведенный через некоторое время после смерти Сталина в Москву, он оказался там впоследствии заместителем А.Т. Твардовского в редакции самого либерального журнала того времени — «Нового мира» и очень успешно выполнял полученное новое задание. В этой связи я вспоминаю то ли анекдот, то ли анекдотического свойства рассказ о самом А.Т. Твардовском, пришедшем в гости к друзьям в московскую коммуналку, в

которой он поддерживал отношения со всеми ее обитателями. Разговаривая с одним из них, старым евреем, он пошутил насчет того, что предки его распяли Иисуса Христа. *«Значит, указание такое было»,* — парировал тот.

Помню, что, предложив Дементьеву по телефону рецензию на книжку о кровавом американском империализме для *«Звезды»*, я услышал в ответ его обычное оканье: *«И очень кровавый? Восемь страниц ко вторнику попрошу»*.

Его антикосмополитический спектакль одного актера был построен совсем иначе, чем это делалось на истфаке. Студенты-гуманитарии старшекурсники были собраны на его доклад в большом актовом зале. Он начал с того, почему театральные критиков-космополитов непременно называют группой. Эту неуклюжую обязательность партийной терминологии (ср.: *«примкнувший к ним Шепилов»*) он объяснил таким образом: *«Вы, молодые мои друзья, в отличие от нас, старших по возрасту, еще не умудрены опытом внутрипартийной борьбы и не знаете, что такое групповщина. Сейчас я вам это объясню. Вот недавно в Москве тамошние театральные критики-космополиты освистывают прекрасную пьесу замечательного нашего молодого драматурга Сурова “Зеленая улица”. Происходит это вечером, а на следующее утро в здешнем, ленинградском, отделении Театрального общества местные космополиты им подсвистывают. Это значит, что за ночь они по телефону связались. Налицо организация! Вот почему мы говорим: группа»*. *«Есть у нас такой космополит Симон Дрейден»,* — продолжал он. — *Знаем, что космополит, а доказать этого не можем. Статей никаких не печатает, книгу написал — “Киров и вопросы искусства”, но в издательство ее не несет. “Ты покажи, — говорим мы ему, — что хоть ты там написал-то”. Не показывает. Заглянули мы в эту рукопись с помощью соответствующих органов и такое там увидели, что у нас волосы дыбом встали!»*

Изъятие рукописи, разумеется, означало арест автора. А когда он вернулся, с его слов говорили, что показания Дементьева по его делу, данные следователю, были вполне при-

стойными. А ведь тема «*Киров — искусствовед*» могла дать не меньший повод для обвинений во враждебных взглядах против взявшегося за нее автора, чем книга о Леонардо да Винчи, фигурировавшая в деле арестованного М.А. Гуковского. Волосы-то ведь все-таки встали дыбом...

Впрочем, эта циническая игривость и со стороны проработчиков допускалась лишь в устной речи. В печати не принято было отклоняться от казенного трафарета, который, в свою очередь, был каким-то художочным. Как горкомовский куратор всех редакций и издательств А. Г. Дементьев в ленинградском партийном журнале «*Пропаганда и агитация*» осудил изданную университетским издательством в 1947 г. выдающуюся книгу Б.А. Романова «*Люди и нравы древней Руси*». Б.Д. Греков встретил ее неодобрительно. Этого следовало ожидать, так как вместо положенного тогда преобладания «классового начала» в ней на первом месте стояли те явления, которые сейчас были бы названы общечеловеческими. А самое главное, это было исследование, отличавшееся яркой талантливостью. Начались проработки. Я не буду останавливаться на этой истории, В.М. Панеях обстоятельно изложил ее в своей книге о Б.А. Романове. Скажу лишь о том, как уже свергнутый В.В. Мавродин рассказывал мне (мы ходили по галерее вокруг истфака, он избегал заходить внутрь) о своем исключении из партии в высшей инстанции в Москве. При этом М.Ф. Шкирятов обвинял его в содействии изданию книги Романова, порочность которой распознал, несмотря на свою беспартийность, Греков (**грековский отзыв** фигурировал в деле), а он, коммунист, **проглядел**.³⁴

Дементьев в своей статье о работе ленинградских издательств написал, что в книге Романова в излишне черном

³⁴ Мне казалось, что изданию книги Б.А. Романова способствовал и А.А. Вознесенский через директора университетского издательства **Тышлера**. Во всяком случае Б.А. был на похоронах **Тышлера**. Вообще Вознесенский хорошо относился к Б.А. Романову, пытался помочь ему в квартирном деле, но не сумел этого сделать ввиду препятствий, оказавшихся непреодолимыми.

свете изображена жизнь наших предков. Явившись в библиотеку **ЛОИИ**, Б.А. Романов взял стоявший на выставке журнал и написал карандашом на полях: *«Кого именно из героев моей книги А. Дементьев считает своим предком, уж не Даниила ли заточника?»* Независимо от того, являлся ли Дементьев поповичем, удар был точным, о чем он, разумеется, так и не узнал. Впрочем, один из устроителей антикосмополитической кампании на филологическом факультете получил такого же рода удар в лицо. Там *«проработочное»* действие началось в актовом зале факультета, однако народу собралось так много, что решено было перейти в университетский актовый зал. Увидев одевающегося Г.А. Бялого, устроитель сказал ему: *«Тутведь недалеко»*. — *«Боюсь простудиться и умереть без покаяния»*, — ответил тот.

Распространялся рассказ о том, как С.Я. Лурье, увидев в газете статью о французском министре **Жюле Моке** *«Американский холуй Мок»*, с помощью бритвы и клея переставил буквы *«ол»* из второго слова в третье и показал свое творенье **А.И. Молоку** со словами: *«Мне это кажется чрезмерным»*.

Но возвращаюсь к ходу событий на истфаке. Что касается меня самого, то дело весной 1949 г. шло к окончанию университета, и следовало по-добру, по-здорову уносить ноги. К тому же один из членов факультетского партбюро, Г.Ф. Барихновский, студент, в прошлом фронтовик, отвел меня в сторону и сообщил, что в подготовляемой мне, как и всем выпускникам, характеристике будет сказано о моей беспринципности или отсутствии у меня принципиальности. Речь шла о моей позиции в так называемом «деле Андреева». **В.Н. Андреев** был моим школьным товарищем, а затем студентом нашей группы. Занимался он у **М.В. Левченко**. Вследствие конфликта чисто личного характера между ним и студентом-журналистом **А. Елкиным**, впоследствии сотрудником *«Комсомольской правды»*, появилась направленная против него статья Елкина в газете *«Ленинградский университет»*. Она содержала набор политических обвинений, среди них был и расизм (Андреев обозвал зулусом азербайджанца, бросившего забеременевшую подружку). Устроенное

собрание реанимированной для этого случая нашей комсомольской группы с участием специально составленной целой команды членов партии поначалу пошло по непринципиальному пути: особа, за расположение которой боролись между собой Андреев и Елкин, восприняла происходившее как свой триумф, заняла председательское место и принялась с упоением рассказывать публике историю соперничества двух своих поклонников, время от времени требуя подтверждений произносимого ею то от одного, то от другого (*«Помнишь, как ты ему заехал — хрясьсь...»*). При этом молчаливо, несмотря на свою партийность, присутствовал третий, сообщивший мне по секрету, что он остался вне конкуренции потому только, что из скромности никогда не предавал огласке своих успехов у пламенной ораторши. *«Зачем же драться?»* — удивлялся он.

Членам курсовой партгруппы и факультетского партбюро пришлось взять дело в свои руки и направить его, как и предполагалось, по политическому пути. Я не называю их имен. Адвокатствовали А.Д. Дридзо, пришедший на собрание в качестве корреспондента факультетской стенгазеты, и я. В перерыве М.В. Левченко подошел ко мне и поблагодарил, оглядываясь при этом по сторонам.

Получив в такой ситуации в деканате распределение в распоряжение Леноблоно, близкое к свободному, я считал это своей удачей и ни о чем другом не помышлял. Но обстоятельства сложились иначе. Как позже стало известно, Н.А. Вознесенский был арестован последним из главных так называемых *«попковцев»*. В течение более чем полугода он не был даже исключен из партии. На посту министра просвещения оставался и А.А. Вознесенский. На истфаке это создавало некоторую неопределенность: продолжала работать так и не переехавшая в Москву Е.М. Косачевская, гражданская жена бывшего ректора (впоследствии, вернувшись из заключения, она выпустила ряд ценных работ по истории университета). Женщина сильного характера, потерявшая дочь-подростка, расстрелянную немцами на оккупированной территории при ликвидации евреев, она всегда дер-

жалась по возможности независимо. Моя жена помнила партсобрание, на котором уже после ареста А.А. Вознесенского от Е.М. Косачевской требовали прекратить бытовую помощь его сыновьям Льву и Эрнсту. Она отказывалась сделать это, открыто поддерживаемая, к молчаливому восторгу некоторых присутствовавших, бывшими своими учениками еще по школе, фронтовиками, позже профессорами М.С. Каганом и Н.Г. Левинтовым, и вскоре также была арестована.³⁵

Однако до ареста братьев Вознесенских многие на истфаке связывали независимое поведение этой рядовой преподавательницы (не помню даже, имела ли она уже доцентуру) с ее отношениями со старшим из братьев. И когда она публично обвинила Корнатовского в антисемитизме, он решил отнестись к этому серьезно. Мне трудно сейчас определить, какие основания для таких обвинений были на тот момент. Вероятно, имелись в виду какие-нибудь заявления. Но, как бы то ни было, на распределении в ректорате, которое производил в ректорском кабинете сам Корнатовский, медиевистка Э. Фельдман, ученица О.Л. Вайнштейна, и я были рекомендованы в аспирантуру. Осенью 1949 г., когда прием аспирантов был завершен, заведовавший общеуниверситетским отделом аспирантуры профессор-биолог, член-корреспондент Академии медицинских наук П.О. Макаров знакомился с каждым из принятых. Когда я вошел в его кабинет, он поздравил меня, сообщив, что более чем на 100 зачисленных по всем факультетам (по-моему, была названа цифра то ли 114, то ли 140 человек) евреев оказалось всего двое. Кажется, он сказал: «Вас всего двое», не употребляя из совершенно оправданного в университетских стенах благоразумия слова «евреев».

³⁵ После ее возвращения ректорат пытался отказать ей в восстановлении на работе со ссылкой на то, что брак ее с А.А. Вознесенским не был зарегистрирован. Как говорили, об этом стало известно Хрущеву, и в университет была сообщена его фраза: «Когда сажали, свидетельства о браке не требовали, а теперь не могут без него обойтись».

У меня не было и до сих пор нет исчерпывающего объяснения тому, что привело меня в аспирантуру. Вероятно, многое существенное из того, что в те дни происходило, осталось мне неизвестным. Могу только предположить, что в судьбе Корнатовского это был роковой момент. Я отчетливо помню, что в самом начале лета, подписывая у декана какую-то бумагу, я уже знал, что он, по остающемуся бессмертным выражению, «зашатался». А осенью он был арестован. Не знаю, что было сообщено парторганизации о причинах этого, да и вряд ли в этом сообщении было что-нибудь объясняющее дело. Только с началом реабилитации появились такие объяснения, и мне придется поэтому забежать несколько вперед.

В 1953—1955 гг. я после аспирантуры оказался преподавателем на половинке ассистентской ставки (я называл себя: «*полуасс*») на кафедре истории Библиотечного института. Здесь же работал Н.Я. Иванов. Хотя переход его туда из университета носил характер репрессии за близость к Корнатовскому, он и в Библиотечном институте считался идеологическим авторитетом, в частности он давал консультации по поводу периодизации истории библиотечного и книжного дела. Периодизация еще была одной из основ методологического конструирования исторических курсов. Но уже зародилось скептическое отношение к таким формулам, как, например, *«физкультура и спорт в период столыпинской реакции и нового революционного подъема»* или *«родовспоможение в период перехода от феодальной раздробленности к образованию русского централизованного государства»*. Кафедрой истории заведовал В.Г. Палехов, входивший в отряд идеологов, присланных ЦК из Москвы и некоторых других городов вместо ленинградцев, отстраненных в результате попковского дела. Это был очень порядочный человек, выпускник Академии общественных наук, не вынесший отсюда навыков партийной боевитости. В один прекрасный день он появился на кафедре с большим портфелем, из которого стал один за другим извлекать труды Корнатовского. Оказалось, что он — председатель экспертной комиссии, составленной Ленинградским управлением КГБ для пересмотра дела

Корнатовского. В Библиотечном институте, помещавшемся в том же, что и КГБ, Дзержинском районе, это был не единственный случай. Другой стал скандалом. Я расскажу о нем, чтобы читателю были ясны причины не политической даже, а скорее профессиональной осторожности, с которой новоиспеченные эксперты должны были относиться к своей миссии.

У одного из арестованных были обнаружены какие-то записи о социалистических идеях неопределенного характера. Они не были явно криминальными, но возможность того, что их автор — он сам, все-таки вредила репутации арестованного в глазах следствия. То ли их ему, на всякий случай, не предъявили, то ли еще по какой-то причине, но экспертам было предложено атрибутировать текст. Как и следовало ожидать, сделать это при таких обстоятельствах не удалось. Бедняга оставался под подозрением в том, что сочинитель — он сам. На его счастье, это было время, когда прокуратура, даже районная, должна была ревизовать КГБ, и ее следователь ехал туда, читая по дороге Флобера, а в следственном деле нашел выписки из прочитанного. На районной партконференции прокурор изложил все это как доказательство некомпетентности экспертов и причину требования к ним вернуть гонорар.

Я вошел в комнату, где помещалась кафедра, во время разговора В.Г. Палехова с Н.Я. Ивановым. Речь шла о деле Корнатовского. Палехов помалкивал, не выказывая ни яростной ненависти к троцкизму, ни своего отношения к обвинению в нем Корнатовского. Обеспокоенный Иванов обратился ко мне как к бывшему универсанту: *«Говорят, что Корнатовского реабилитируют. Чушьэто! Сколько людей из-за него пострадало! Ну, ладно я, ладно Овсянкин, а вот Олега разве можно ему простить?»*

В этом был страх перед реабилитацией не только Корнатовского, но и чьей бы то ни было и одновременно новая трактовка троцкизма. Разумеется, Иванов, отрекаясь от Корнатовского после того, как демонстративно оказывал ему активную поддержку, «наследил». Но реабилитация вообще была чревата для него житейской неприятностью. Он полу-

чил квартиру арестованного преподавателя марксизма-ленинизма Петерсона. Вернувшись после реабилитации, тот отказался от обычно в таких случаях предоставлявшейся квартиры в новых домах (несколько таких домов шутники называли домами политкаторжан по аналогии с домом, построенным в 1920-е годы) и по известной ему причине потребовал возвращения старой квартиры. Среди новых бывших политкаторжан оказался Н.Я. Иванов.

Что же касается его новой трактовки троцкизма, то вина Корнатовского как троцкиста сводилась теперь к страданиям его окружения. Не более того. Да и его ли была в этом вина? Кстати сказать, В.А. Овсянкин и Олег Александрович Ваганов пострадали, насколько было известно, по иным причинам. Овсянкин успел, кажется, какое-то время поработать в попковском обкоме перед его разгоном, а одаренный и блестяще образованный Ваганов был по матери англичанин. Уволенный из университета, он был принят в ЛОИИ, но затем его уволили и оттуда, и он умер в будке телефона-автомата, из которой звонил в обком для разговора о своем будущем (он жил в коммунальной квартире и вести такие разговоры по коридорному телефону считал невозможным).

При следующей встрече на кафедре разговор принял другой оборот. Палехов не молчал. Корнатовский, рассказал он, был привезен из лагеря и представлен экспертам. Следователь заявил им: *«Как вы решите, так и будет»*. Иванов опять обратился ко мне: *«Говорят, Корнатовскому при реабилитации выговор за троцкизм вынесут. Какой он троцкист?!»*

Примерно одновременно с реабилитацией Корнатовского один из выпущенных арестантов сообщил свою версию превращения ярого борца с троцкизмом в троцкиста, экстравагантную, но вполне правдоподобную историю, невольным участником которой он стал, находясь в тюрьме. Его сокамерник явился с допроса озадаченный новым обвинением, предъявленным ему следователем. Речь шла об изданной в 1931 г. Корнатовским брошюре *«Северная контр-революция»*, давно забытой ее несчастным обладателем и найденной при обыске на антресолях. Она еще не была ос-

нашена теми проклятиями против Троцкого, которые вскоре стали обязательными, и могла поэтому пойти по разряду троцкистской контрабанды. Рассказчик же перед арестом прочитал газетную статью Колобовой о профессоре-большевике Корнатовском и сообщил о ней своему соседу по камере как таком обстоятельстве, которое могло пойти ему на пользу. На очередном допросе тот упомянул о ней, но следователь реагировал по-своему: *«Мы еще посмотрим, что он за большевик»*.

Но вернусь в 1949 год. Формы кадрового контроля, внедрившиеся в практику, мне пришлось увидеть воочию. Случилось так, что в разгар приема в высшие учебные заведения летом этого года мне пришлось быть в помещениях приемных комиссий сначала университета, а затем Института им. Герцена. В университете ответственный секретарь комиссии сидел за письменным столом, а по обе стороны от него, следя за каждым его словом и движением, сидели в неловких позах вплотную к нему (стол был на одного) двое чернявых мужчин. Минут через тридцать в герценовском я увидел точно такую же картину. Сидевшие рядом со здешним секретарем люди были так похожи на виденных мною в университете, что в первый момент мне показалось, будто они меня обогнали по дороге. Но это были другие люди, и задания у *них* были разные. В отличие от университета в герценовский институт евреев все-таки принимали, и в немалом количестве.

Это было время участвовавших арестов. Запомнилось поведение людей в связи с ними. Кажется, один только раз в частных разговорах мне довелось услышать об арестованном в обвинительном духе. Мы, аспиранты, должны были участвовать в чистке факультетской библиотеки и «бубнении», как мы это называли, ее фондов. На книгах был штамп библиотеки Ленинградского университета им. А.С. Бубнова. А Бубнов, нарком просвещения, был расстрелян и его имя в сохраненных в фонде книгах требовалось с помощью особой печати «погасить». Некоторые книги подлежали изъятию по инициативе снизу, которую, **впрочем**, старались не проявлять. Когда дело дошло до книги журналиста-международника Рубинина, случайно присутствовавший при этом

преуспевавший молодой москвич с ироническим пренебрежением обронил: *«Друг и приятель Соломона Лозовского»*.

Вероятно, опасениями перед такими выходками определялось поведение моих однокурсников Э. Кузнецовой и ее мужа И. Вольфсона. У нее была арестована мать, и они оба не только не говорили об этом, но и старались вести себя так, словно ничего не произошло. Товарищ моего отца литературный критик Б.С. Вальбе во время блокады у себя дома вместе со знакомым литератором В. Дружининым топил «буржуйку» (так назывались маленькие чугунные печки) книжками из своей библиотеки. Среди них была изданная в Одессе во время гражданской войны брошюра об Армагеддоне. Вскоре он был вызван в НКВД, но отпущен. Тихий мудрец, всему научившийся сам (в дореволюционных провинциальных газетах, если не ошибаюсь, *«Бердичевском вестнике»* и *«Юго-западной Волини»*, полемизировавших между собой о Шопенгауэре, были его пространные статьи), он знал, что это означало, и в разговорах со знакомыми скорбно шутил: *«Если бы Вы знали, как я умею бояться»*. Впрочем, дело это было нешуточное. Я присутствовал при том, как уже через несколько лет после смерти Сталина один опытный и доброжелательно относившийся к члену-корреспонденту Н.В. Пигулевской человек упрекал ее в том, что она стала мало бояться. Она оправдывалась: *«Нет, я боюсь, очень боюсь»*. Летом 1949 г. Вальбе взяли по старому обвинению по доносу Дружинина и другого литератора — А. Морозова. Когда он вернулся, на собрании ленинградских писателей, посвященном итогам XX съезда, его дочь, моя соученица по школе, Р. Б. Вальбе, назвала доносчиков по именам. Разумеется, оба они продолжали вести себя по принципу «как с гуся вода», часто бывали в БАН. Дружинин, по-моему, пользовался и библиотекой ЛОИИ. Морозов однажды представился нашей коллеге А.А. Нейхардт как известный писатель и хулиган. *«Что хулиган — слышала, — ответила она, — а что писатель, извините, нет»*.

Аресты на истфаке в течение 1949—1950 гг. не носили такого повального характера, как в соседнем коридоре — на

экономическом факультете, где все крупные ученые, составлявшие кафедру Вознесенского, **исчезли**.³⁶ Но ветерок отсюда до нас доходил, в частности в форме замены работавших на истфаке преподавателей политэкономии. На самом истфаке были арестованы доцент кафедры новой истории **М.Б. Рабинович**, профессор-медиевист **М.А. Гуковский**, одно время бывший при Вознесенском проректором, студенты **Баранов** и **В.Л. Глебов**.

Вряд ли причины этих арестов были связаны с деятельностью Корнатовского. **М.Б. Рабинович** описал свое дело в воспоминаниях, **М.А. Гуковский** был арестован вместе с братом, известным литературоведом **Г.А. Гуковским**. **Володя Глебов**, занимавшийся историей Сербии, ученик **Н.П. Полетики**, посещавший и занятия **Б.А. Романова**, арестованный в начале 1950 г., был сыном **Л.Б. Каменева**. Наш с ним общий друг историк-славист **Ф.А. Молок** недавно опубли-

³⁶ Один из них, **А.И. Буковецкий**, вернувшись, рассказывал, что связь с братьями Вознесенскими чуть ли не перевесила в представлении следователя его принадлежность к меньшевикам в 1917 г. Помимо того, что он был членом кафедры **А.А. Вознесенского**, он оказался еще и содействовавшим карьере «врага народа» **Н.А. Вознесенского**: сохранилась с давних пор характеристика, данная тому **Буковецким**. В ней отмечалась успешная работа студента **Н.А. Вознесенского** в руководившемся **Буковецким** семинаре по денежному обращению. Вина профессора усугублялась сохранением или возобновлением компрометирующей его связи: в 1946 г. он шел в Москве по Кузнецкому мосту. Председатель Госплана увидел его из своего автомобиля и узнал (**А.И. Буковецкий** прихрамывал на обе ноги), остановил машину и отвез туда, куда тот направлялся. Что охрана регистрирует пассажира и затем следует его «разработка», **Вознесенский** должен был знать. Но вреда себе от знакомства с **Буковецким**, он, по-видимому, не испугался. Предположить же, что опасность для окружающих будет исходить от него самого, он, конечно, не мог. Как бы то ни было, совершенно естественный человеческий поступок, возможно инстинктивный, в условиях тогдашней действительности оказался недопустимым. В соответствии с ними следовало отвернуться и ехать дальше.

ковал очерк о нем. Как рассказывал, вернувшись из лагеря, В. Глебов, во время следствия его спрашивали о Н.П. Полетике и обо мне. Кстати сказать, вернувшийся проф. М.А. Гуковский, очень мало меня знавший, тем не менее однажды пригласил меня вместе с ним выйти на улицу из университета и погулять. На Дворцовом мосту он рассказал мне, что и его расспрашивали обо мне. Каким-то образом Н.П. Полетика почувствовал или узнал, что над ним нависла угроза, и почел за благо (а, может быть, получил такой совет) уехать из Ленинграда. Через своего аспиранта-узбека он получил приглашение в Институт востоковедения АН Узбекской ССР, кажется, он затем преподавал в Ташкентском университете.

В руководящих сферах (не только университетских) это вызвало некоторую растерянность. Поступок Н.П. Полетика был публично назван дезертирством. Возможно, растерянность была вызвана тем, что ход, который сделал «дезертир», предотвратил уже намеченный печальный для него поворот событий. Во всяком случае его отъезд в 1951 г. был, скорее всего, не напрасным. В один из своих приездов в Ленинград Н.П. Полетика пригласил меня прийти к нему на новую его квартиру — не на 9-й Советской ул., где он жил раньше, а на 6-й линии Васильевского острова. Он рассказал, что совершил обмен с той сотрудницей спецотдела университета, которая, как он выразился, сидит за дверьми у окошка. Собственно, она была единственная сотрудница этого отдела, которая обычным его посетителям была известна. Здесь надо сказать, что до осени 1952 г. для чтения библиотечной литературы специального хранения требовался допуск к секретной работе, оформление которого занимало несколько месяцев. (Если не ошибаюсь, осенью 1952 г. допуск был заменен простым ходатайством директора учреждения и секретаря парторганизации.) Когда допуск бывал получен из МГБ, чтобы пойти в библиотеку, нужно было обратиться в спецотдел и заказать документ, который вручался в конверте с печатями. Обитая железом дверь в спецотдел имела закрывающееся дверцей окошко и звонок. После нажатия на звонок окошко открывалось и в нем появлялась неопреде-

ленного возраста женщина в темном платке. С ней-то и совершил Николай Павлович выгодный для нее квартирный обмен. «*Вы поступили сомной по-профессорски*», — с удовлетворенной улыбкой цитировал он ее благодарственные слова.

Не могу сказать, была ли связь между отъездом и состоявшимся затем квартирным обменом. Но в том, что овладевшие человеком «беспокойство» и «охота к перемене мест», «немногих добровольный крест», могли оказаться отнюдь не «мучительным свойством», а спасением, убеждал и другой известный мне случай. После уже изложенного дела Андреева мы ждали его ареста. Подоспело распределение, и он получил путевку на Дальний Восток в среднюю школу, если не ошибаюсь, в Благовещенск. Кто-то шепнул мне, что это было сделано для его же блага. В школах места не нашлось, а в тамошний педагогический институт он был взят в качестве преподавателя. Вскоре, как он мне потом рассказал, его пригласили в областное управление МГБ для руководства теоретической учебной работой сотрудников, кажется в области философии.³⁷

Почти одновременно с уходом Н.П. Полетики Б.А. Романов, придя в кассу, узнал, что он уволен. Книга В.М. Паненяха содержит подробные объяснения этого, начиная с речи Романова на своем шестидесятилетии, где он, используя сталинское выражение «винтики», которое тот применил по отношению к простым людям, сказал, что всегда **чувство-**

³⁷ Вообще помочь делу могло даже намерение уехать. На истфаке было несколько выходцев из Румынии и Венгрии, через Кишинев оказавшихся в Ленинграде (по-моему, Мавродин, сам родом из Молдавии, не был этим недоволен). Это были Ефрем Шульман, И.Ф. Фихман, ставший всемирно известным **папирологом**, комсомолец-подпольщик Марк **Иткис**. Много лет мы были друзьями с **Я.И. Штернбергом**. Когда мы кончали университет, Р.С. Мнухина, руководившая его дипломной работой, ясно дала мне понять, что стремиться остаться в Ленинграде ему не следует. Он уехал в Ужгород, где профессорствовал до конца жизни, став одним из наиболее видных у нас специалистов по венгерской истории.

вал себя «винтиком». Впрочем, если память мне не изменяет, был уволен и И.И. Смирнов, лауреат Сталинской премии, который, как и Б.А. Романов, был на основной работе в ЛОИИ. В университете же они были совместители. Романов, однако, не расстался с факультетом, продолжая руководить дипломантами и студенческим научным кружком.

Вообще в университете была своя собственная строгость, не смягчавшаяся даже под влиянием либеральных проявлений на самом верху. Через два года после меня истфак кончил специализировавшийся по той же кафедре Э.М. Павлов. Его мать работала в ЦК ВКП(б), где имела отношение к связям с компартией Франции. Об этом было всем известно, потому что на юбилее Сталина речи представителей зарубежных компартий переводились публично называвшимися работниками ЦК и ею в том числе. Но через два года после этого Э. Павлову в поступлении в аспирантуру отказали. Я спросил о причинах этого тогдашнего парторга кафедры, сославшись на мать в ЦК. *«Мать матерью, — ответил он мне, — а отец расстрелян»*. А через некоторое время после смерти Сталина Э. Павлов занял в горькоме такой пост, что университетское начальство оказалось в некоторой от него зависимости. Мы говорили по этому поводу: *«Неважная картина — коза дерет Мартына, а вот наоборот — Мартын козу дерет»*. Впрочем, Павлов, насколько мне известно, был очень корректен в своем поведении.

К этому времени относится такой запомнившийся мне эпизод. Очень влиятельным человеком на факультете, хотя и не занимавшим высоких административных постов, был А.В. Федоров. У Б.А. Романова были с ним неплохие отношения, и, написав докторскую диссертацию о русской армии в середине XIX в., Федоров привез ее Б.А. Романову, рассчитывая на него как на одного из своих оппонентов. Через некоторое время у меня раздался телефонный звонок Б.А., жаловавшегося на резкое ухудшение зрения. Он так увлекся, что Елена Павловна, его жена, взяла у него трубку и короткой, но выразительной фразой, на которые она была мастерица, дала понять, что дело обстоит не так уж страшно

и заключается в нежелании Б.А. Романова оппонировать Федорову. Звонок мне был, вероятно, не единственным, и диссертация была возвращена со ссылкой на болезнь глаз. Но интереса к ней он не потерял, и в день защиты **не** допускающим возражений тоном заявил мне по телефону: *«Вы, конечно, собираетесь на диспут Федорова, сейчас я за Вами заеду»*. Мы сели за самыми дальними от кафедры столами 53-й аудитории (ныне им. В.В. Мавродина). Слышно было не очень хорошо. Впрочем, комплиментарные отзывы первых двух оппонентов, Е. В. Тарле и С.Б. Окуня, понять было не так уж трудно. Тарле, помню, сказал, что диссертант — дважды доктор. А когда стал говорить третий оппонент, С.Н. Валк, я завертелся, стремясь расслышать, его манера говорить негромко и несколько смущенно этому не содействовала, особенно на расстоянии. Но Б.А. Романов, остававшийся невозмутимым, меня успокоил, сказав, что у диссертанта хорошо поставленный голос и из его ответа мы обо всем узнаем. А речь шла о прокламации Чернышевского *«К барским крестьянам»*, которой Федоров в своей диссертации отводил важное значение в деле революционирования армии, между тем как прокламация не распространялась и стала известной по публикации М.К. Лемке в журнале *«Былое»* в 1906 г. В своем ответе Федоров назвал это досадной опечаткой. Прокламация и ее судьба стали предметом специальных исследований С.А. Рейсера в 1966—1968 гг. (ныне появились сомнения в авторстве Чернышевского). Но Валк и Романов, вероятно, знали о публикации Лемке, и я не исключаю того, что переговорили между собой.

Это было в 1951 г., а в 1960 г. в *«Известиях»* появился фельетон известного впоследствии слависта и историка общественной мысли В.А. Дьякова о том, что А.В. Федоров в выпущенных им по теме диссертации книгах совершил плагиат из двух остававшихся неизданными диссертаций.

Мое положение между Б.А. Романовым и Полетикой (у Б.А. было такое выражение — *«дитя двух матерей»*) не вызывало затруднений: они относились друг к другу весьма уважительно. После **отъезда** Полетики моим руководителем был

заведовавший кафедрой новой истории проф. А.И. Молок, а после его переезда в Москву — доцент П.Ф. Кухарский.

1949 год ознаменовался открытием в советской историографии антиамериканской кампании. На торжественном заседании в день годовщины со дня смерти Ленина с докладом выступил П.Н. Поспелов, остановившийся на агрессивной политике США после Второй мировой войны (Б.А. Романов считал его похожим на К.П. Победоносцева). Вышла в свет книга А.В. Березкина, сотрудника редакции журнала *«Большевик»*, *«США — активный организатор военной интервенции против Советской России»*, получившая Сталинскую премию.³⁸ За этим последовал поток работ такого же направления. Подверглись осуждению добротные марксистские работы по истории США В.И. Лана и Л.И. Зубока (Лана клеймил выступавший под псевдонимом М. Маринин Я. Хавинсон, бывший руководитель ТАСС, о нем еще будет сказано). Я имел к этому времени некоторый опыт работы с официальными американскими публикациями дипломатических документов, хранившимися в так называемом Отделе полиграфии Публичной библиотеки. Там с дореволюционных времен работала Пелагея Федоровна Горбатенко, которая из сотен томов выбирала требуемые читателем, делая это как будто наугад, но на самом деле на основе многолетнего опыта, не прибегая к специальному американскому справочнику — Checklist'y. Как я уже писал, я работал над англо-американскими отношениями 1890-х годов, темой политически невинной, хотя в напечатанной мною по этой теме историографической статье было и слово «фальсификация» в заголовке, и ссылка на Сталина в тексте. Однако начинал я интересоваться американской политикой по отношению к Временному правительству в России.

³⁸ Уже во второй половине 1950-х годов А.В. Березкин на основе нового, расширенного, издания своей книги защитил докторскую диссертацию. Ее рецензентом в ВАКе оказался НА. Корнаатовский. Вернувшийся из лагеря антисталинистом, он, как мне говорили, написал отрицательный отзыв.

Тема эта была близкой к направлению главного удара, которым в нашей исторической литературе стала роль США в российской гражданской войне, и я почел за благо отойти в сторону и отложить эту работу, как оказалось, лет на двадцать. Стал же я заниматься американским экспансионизмом в тихоокеанском бассейне в XIX в. все по тем же американским документальным публикациям — *«Papers relating to the Foreign relations of the U.S.»* Не хочу создать у читателя такого впечатления, что я намеренно уклонялся от работы над темами, отмеченными официальным одобрением, актуальными в научно-политическом отношении, как тогда говорили. Позволить себе такое было **трудно**, да и вряд ли **возможно**.³⁹ Однако наш этический кодекс категорически не допускал участия в проработке в той или иной форме коллег-соотечественников, для которых в этом была реальная опасность, если не жизненная, то житейская. Критика иностранных ученых под этот наш самодельный запрет не попадала. *«Их, — говорил В.Я. Голант, — из-за того, что я о них напишу, даже продовольственной картонки не лишат».*

Когда речь заходила о соотечественниках, приходилось изворачиваться. При сдаче кандидатского минимума, который принимала комиссия во главе с А.И. Молоком, мне

³⁹ Это относилось и к художественной литературе. Однажды я был у Ю.П. Германа, которому меня просили помочь историческими справками по части роли США в гражданской войне в России. Я принес ему несколько новых исторических работ. Прочитав их, он сказал, что они полезны, но грубоваты, а эффективной пропаганде грубость вредит. Кстати, в другой мой приход я застал там человека блестящего остроумия Ю.И. Реста, вместе с которым Ю.П. Герман перевел с узбекского на русский пьесу Абдуллы Кахара *«Шелковое сюзаннэ»*. Кажется, в *«Правде»* появилась тогда возмущенная заметка о том, что эта пьеса лауреата Сталинской премии, с успехом идущая на столичной сцене, до сих пор не поставлена на его родине в Ташкенте. На мой наивный вопрос, почему это произошло, они, переглянувшись, сказали, что умеют переводить только с узбекского на русский, а не наоборот.

достался вопрос о космополитизме Л.И. Зубока. Я свел свой ответ к тому, что ему пришлось для написания своей книги о политике США в странах Карибского бассейна пользоваться документами либо вошедшими в официальные американские публикации, либо введенными в научный оборот американскими авторами. Получалось, что в этом была его беда, возможная же вина в неполноте материала возлагалась, таким образом, на американцев. Должен, впрочем, признать, что сильному давлению с требованием доноса «на ближнего» я не подвергался. Однажды мой коллега по аспирантуре Г.А. Вартанов, бывший **разведчик**,⁴⁰ заговорил со мной о том, чтобы я написал статью в университетскую газету об ошибках доц. И.Г. Гуткиной. Ее удалили с кафедры новой истории, в этом усматривали подкоп под Е.В. Тарле, в дом которого она была вхожа. Д.И. Петрикеев, ученик И.И. Смирнова, заведовавший тогда Горono, устроил ее преподавателем в среднюю школу, затем она была взята в Институт им. Герцена. Я пробормотал что-то отказное и посмотрел на Вартанова, а он — на меня. Не знаю, как мой, но его взгляд был очень выразительным. Больше он со мной об этом не заговаривал.

С кафедры истории средних веков был уволен ее заведующий проф. О.Л. Вайнштейн, отправленный преподавать в г. Фрунзе (тогда практиковалась такая форма высылки профессоров-евреев из больших городов).

Вообще истфак после Корнатовского как-то притих по части **проработочных** заседаний. Нанесенный Сталиным летом 1950 г. удар по марризму задел К.М. Колобову. До того она выступала как идеологическая наставница и даже читала доклад сказавшегося больным С.И. Ковалева о космополитизме С.Я. Лурье, который до войны, как вспоми-

⁴⁰ Армянин, родившийся в Мерве, он обладал характерной мулатской внешностью. До Латинской **Америки**, где он провел несколько лет, работал в Японии. Человек он был умный от природы и умудренный богатым опытом своей жизни.

нает М.Б. Рабинович, критиковал арестованного тогда Ковалева. А после того, как Сталин поддержал противников Марра, Д.П. Каллистов с большим чувством и явным удовольствием уличал К.М. Колобову в марризме.

Игры, которые вел с историками Сталин в последние два года его жизни, имели одним своим явным выражением выступление против Е.В. Тарле директора музея Бородинской битвы С. Кожухова, напечатанное в *«Большевике»*, и помещенный там же с разрешения Сталина ответ Тарле, не полностью, однако, удовлетворивший редакцию.

Обычно принимаемая Тарле мера предосторожности состояла в том, чтобы предать огласке сталинское к себе расположение. Впрочем, это нужно было ему и для успеха многочисленных ходатайств и заступничеств, в которых он старался никому не отказывать. Помню его речь в ЛОИИ, когда он в молитвенном духе вспоминал о корректуре первого тома *«Истории дипломатии»*, полученной им еще до войны после просмотра Сталиным с *«пометами, сделанными разными карандашами, но одной и той же бесконечно дорогой для меня рукой»*. В Ленинград он стал приезжать реже, сказав кому-то, что на войне опытные солдаты стараются держаться поближе к танку. Кажется, именно к этому времени относились уже приведенные его слова: *«Объяснили бы, что надо танцевать»*. Но именно этого Сталин в прямой форме не делал. По мнению родственника Е.В. Тарле крупного харьковского инженера Я.Л. Кранцфельда, который в 1980-е годы беседовал с В.С. Дякиным и со мной, Сталин давал Тарле понять, что ждет от него трилогии о борьбе России с ее врагами, в которой в дополнение к Наполеону фигурировали бы, кажется, Карл XII и обязательно Гитлер. Причем Сталину хотелось, чтобы Е.В. начал с тома о Гитлере, главным героем которого стал бы, разумеется, в качестве победителя Гитлера он сам. Но Е.В. с этим-то и не торопился и, как известно, не **просчитался**...

Если вспомнить о противостоянии Е.В. Тарле и А.М. Панкратовой в 1944 г., то **внезапном** ее возвеличении, произведенном Сталиным осенью 1952 г. по завершении XIX съез-

да партии, нельзя не усмотреть связи с выступлением против Тарле в *«Большевике»*.

Когда руководящие органы партии были съездом уже избраны или, по крайней мере, состав их был уже подготовлен, Сталин, как говорили, просматривая списки, заявил: *«Мало женщин, мало интеллигенции»*, — и добавил к членам ЦК Панкратову, к кандидатам в члены — Е.А. Степанову и к членам Центральной ревизионной комиссии — В.П. Друзина. Выбор каждой из этих кандидатур был со стороны Сталина проявлением того, что впоследствии, в антихрущевской партийной пропаганде, стало называться волюнтаризмом. Начну с В.П. Друзина. Мне рассказывал обо всей этой истории его ученик писатель Ю. Константинов (Ю.К. Бердичевский). Квалифицированный литературный критик, Друзин был назначен редактором журнала *«Звезда»* вместо московского литературоведа А.М. Еголина, заместителя начальника Управления пропаганды ЦК, который после постановления ЦК о журналах *«Звезда»* и *«Ленинград»* в течение некоторого времени редактировал журнал, приезжая для этого из Москвы. Вскоре Друзин стал, как и А.Г. Деметьев, одним из ленинградских литературных лидеров и вошел в состав Комитета по Сталинским премиям по литературе и искусству. На одном из его заседаний под председательством самого Сталина Друзин вдруг с ужасом поймал себя на том, что не проголосовал вместе с А.А. Фадеевым и К.М. Симоновым, солидарно с которыми голосовали и другие. Баллотировался один из тех авторов, которых ценили за идейность, а не за художественность. Друзин даже объяснял свои колебания эстетическими соображениями: он де имел в виду проголосовать за премию не первой, а более низкой степени. И вдруг обнаружилось, что не проголосовал и Сталин. *«Остались мы с Вами в меньшинстве, товарищ Друзин, — якобы произнес он. — Давно я не был в меньшинстве. Но воля большинства — закон для меньшинства. Можете быть свободны, товарищи, прошу ко мне, товарищ Друзин»*.

Такова была версия происшедшего, бытовавшая в окружении Друзина. К.М. Симонов тот же, по-видимому, эпи-

зод излагает иначе. Сталин, по его словам, предложил найденное им самим в неновом журнале произведение двух авторов, одним из которых был посаженный писатель Б. Четвериков. Все молчали. Друзин же, шепотом посовествовавшись с Симоновым, сказал об этом вслух в надежде, что Четвериков будет выпущен. Сталин промолчал.

Говорили, что Сталин после этого несколько раз давал редакции «Звезды» по автомашине, забыв про предыдущие. Тем не менее Ленинградский обком был, как говорили, деятельностью Друзина в журнале недоволен, жил он по семейным обстоятельствам в Парголове, где и нашел его чуть ли не в местной бане фельдгегерь с извещением об избрании.

Е.А. Степанова, биограф Маркса и Энгельса, как говорили, пострадавшая из-за мужа, обратилась к съезду с заявлением о восстановлении в партии. Что же касается, наконец, А.М. Панкратовой, то она, считая свое избрание невозможным, поначалу не верила даже газете, думая, что избрана ее однофамилица. Но позвонил с поздравлением П.Н. Поспелов и появился фельдгегерь. Избрание повело к ее назначению на руководящие посты, а в дни смерти Сталина, когда было закрыто ЛОИИ, в «Коммунисте» за ее подписью было заявлено, что Отделение долгие годы работало бесконтрольно и бесплодно. Сама она, по ее словам, ничего подобного не писала.

Обычно мемуариста обвиняют в том, что он много и в благоприятном смысле пишет о себе. Мне очень не хотелось бы дать даже малейший повод для таких суждений. Но не могу не сказать, что уже после первых сообщений о болезни Сталина я почувствовал истинное отношение к нему его соратников и понял неизбежность если не краха, то изменения режима и разоблачения его преступлений. Особенно я помню тот вечер 2 марта, когда, как впоследствии оказалось, уже после смерти Сталина, по радио был прочитан бюллетень о его болезни, а затем без конца передавалась радиопьеса о Кирове. На истфаке, на траурном митинге, с чрезвычайно прочувствованной речью выступил Д.С. Лихачев. Помню, что скорбь его показалась мне чрезмерной. Вечером В.Я. Голант сказал по телефону, что в Союзе писателей с

такой же речью выступил **райкинский** драматург Владимир Поляков. «*Положение сатирика обязывает*», — объяснил Голант. Впоследствии я убедился в том, что многие представители интеллигенции боялись, что без Сталина будет еще хуже. Мне приходилось уже писать в журнале «*Барьер*», что в писательской среде это опасение поддерживалось намеренно.

Интересно, что опыт и проницательность Б.А. Романова не позволили ему поверить, что без Сталина будет хуже. Не помню, до сталинских похорон или сейчас же после них к нему прибежал взволнованный преподаватель юридического факультета ЛГУ Зильберман. Он должен был защищать диссертацию, если не ошибаюсь, о политических взглядах Ивана Грозного при участии в качестве одного из официальных оппонентов московского правоведа С.А. Покровского. Защита была уже назначена, когда сейчас же после смерти Сталина Покровского, как сообщил Зильберман, арестовали. Покровский еще в 1927 г. вел со Сталиным эпистолярную полемику по вопросу о том, с кем в союзе пролетариат брал власть в октябре 1917 г. — совсем крестьянством или только с беднейшим. Сталин настаивал на втором варианте, несомненно, как способствующем идеологическому обоснованию раскулачивания. Завершил Сталин полемику письмом, начинавшимся словами:

«Начав переписку с **Вами**, я думал, что имею дело с человеком, добывающимся истины. **Теперь**, после Вашего второго письма, я **вижу**, что веду переписку с самовлюбленным нахалом, ставящим “**интересы**” своей персоны выше интересов истины». Кончалось письмо так: «Вывод: надо обладать нахальством невежды и самодовольством ограниченного эквилибриста, чтобы так бесцеремонно переворачивать вещи вверх ногами, как делаете это Вы, уважаемый Покровский. Я думаю, что пришло время прекратить переписку с **Вами**».⁴¹

Письмо это почти 20 лет оставалось неопубликованным. Предыдущее сталинское письмо, также весьма уничижитель-

⁴¹ Сталин И. Сочинения, Т. 9. С. 315? 321.

ное по отношению к Покровскому, в следующем году вошло в «*Вопросы ленинизма*», и Покровский в 1934 г. был арестован, но в 1941 г. стал сотрудником Института права АН СССР. Когда в 1948 г. вышел в свет 9-й том сочинений Сталина, в котором было напечатано заключительное письмо, дело обошлось для Покровского служебными неприятностями, тут же устраненными.⁴² Не думаю, что Б.А. Романов знал об этом, но он каким-то образом распознал, очевидно, что у Покровского был высокий покровитель и арест объяснялся его исчезновением. От того, чтобы заменить Покровского в качестве оппонента, Б. А. Романов отказался. Я хорошо помню, что он говорил об этом происшествии в какой-то легкой манере. Действительно, вскоре Покровский был выпущен, а затем стало известно, как сообщил в своих воспоминаниях Ф. Бурлацкий, что он был доносителем и, в частности, подвел под расстрел собственного аспиранта.

Сообщение 4 апреля 1953 г. ° пересмотре дела врачей положило конец представлениям об умеряющей роли Сталина в государственном терроре, который очень скоро на партийном языке стали называть массовыми репрессиями. Впрочем, не могу вспомнить таких идиллических представлений о Сталине ни у кого из моих собеседников тех дней. Старый большевик Андрей Аверьянович Письменский, мно-

⁴² Очевидно, у Сталина была в те годы такая манера демонстративно благосклонного отношения к некоторым из уцелевших критиковавшимся им ранее лиц. Так, если не ошибаюсь, в 1951 г. В.А. Десницкому, старому другу Ленина и Горького (он был тогда профессором Пединститута им. Герцена), стало известно, что в очередной том собрания сочинений Сталина должно быть включено неодобрительное о нем упоминание. Положение усугублялось тем, что празднование юбилея Десницкого в 1949 г. вызвало, как говорили, неудовольствие Сталина (об этом мне сообщил ныне Б.Ф. Егоров). В.А. Десницкий обратился за помощью к М.Ф. Андреевой, перед отъездом к ней в Москву он рассказал об этом моему отцу. Обращение принесло пользу: в Ленинград дано было знать, что Десницкого трогать не следует.

голетний друг моего отца, человек исключительной порядочности, и при Сталине позволявший себе говорить о вине не только Сталина, но и партии, хотя и отделял ее от него, рассказал о том, что в бытность его директором Института усовершенствования учителей в 30-е годы сотрудники НКВД пришли в институт, чтобы арестовать преподавателя литературы Лахостского. Как полагалось, они прежде всего пошли к директору, и ему удалось их уговорить отказаться от ареста.

Дело врачей вызвало к себе не такое отношение в различных слоях аппарата и общества, как то, которого хотелось бы Сталину. Существовавшие тогда признаки этого были малозаметны. Несколько слов о некоторых из них.

Моя покойная двоюродная сестра Мэри Львовна Ганелина жила в семье профессора Мануила Исааковича Певзнера и его жены Лии Мироновны, которая была ее тетушкой. Как тогда мне рассказывали, в возглавлявшемся **М.И. Певзнером** Институте лечебного питания был арестован доктор Берлин, родственник служившего во время и сразу после войны в английском посольстве в Москве Исаяи Берлина, впоследствии сэра. И. Берлин практиковал встречи с советскими гражданами без предварительного согласования с властями СССР. А.А. Ахматова считала, что его визит к ней после войны по ее приглашению, но без разрешения советских властей стал для Сталина причиной ее преследования. Она даже знала якобы сказанные им по этому поводу слова. Вот ее рассказ об этом самому И. Берлину в 1965 г., записанный им уже после ее кончины:

«Как она **утверждала**, сам Сталин лично был возмущен **тем**, что она, **аполитичный**, почти не печатающийся писатель, обязанная своей безопасностью скорее всего тому, что ухитрилась прожить относительно незамеченной в первые годы революции, еще до того как разразились культурные баталии, часто заканчивавшиеся лагерем или расстрелом, осмелилась совершить страшное преступление, состоявшее в частной, не разрешенной властями, встрече с иностранцем, причем не просто с иностранцем, а состоящим на службе капиталистического правительства. *"Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностран-*

ных шпионов”, — заметил (как рассказывали) Сталин и разразился по адресу Ахматовой набором таких непристойных **ругательств**, что она даже не решилась воспроизвести их в моем присутствии. Она приписывала все свои несчастья личной паранойе **Сталина**.⁴³

Говорили, что и арест доктора Берлина объяснялся его контактом с английским родственником, хотя их встреча носила официальный характер. Арест повлек за собой появление в институте комиссии из райкома партии по кадровым вопросам. М.И. Певзнер скоропостижно умер, то ли отчитавшись перед комиссией, то ли не успев этого сделать. А его вдова Л.М. Певзнер была арестована вместе с врачами. Известные мне связанные с ее арестом два эпизода не совсем соответствовали той пропагандистской словесности, которая была создана вокруг «убийц в белых халатах», и по-видимому, как теперь представляется, означали, что причастные к делу или, по крайней мере, осведомленные относительно его хода люди не питали полной уверенности в его доведении до **конца**.⁴⁴

Эпизод первый. Моя кузина, взяв дядину записную книжку с телефонами пациентов, остановилась на А.Я. Вышинском. Его жена пригласила ее сейчас же приехать, а затем вместе с ней ожидать его до позднего вечера. Не ссылаясь на то, что он министр иностранных дел, Вышинский пообещал

⁴³ Цит. по: *Вербловская И.* Горькой любовью любимый: Петербург Анны Ахматовой. СПб., 2002. С. 232—233. По словам И. Вербловской, А.А. Ахматова «считала, что не санкционированная властями встреча с иностранцами спровоцировала и начало **“холодной войны”**, и создание так называемого **“железного занавеса”**».

⁴⁴ Недоверие к сталинской фабрикации ощущалось уже на пленуме ЦК КПСС, проведенном до опубликования «дела врачей». Участник пленума Д.Т. Шепилов вспоминал: «Даже ко всему привыкших советских людей **“дело врачей”** потрясло своей **жестокостью**, бессмысленностью и порождало в сознании кучу недоуменных вопросов и сомнений в достоверности очередного **“дела”**»<...> Словно чувствуя всю неотвратимость этих **вопросов**, Сталин настойчиво доказывал **нам**, членам **ЦК**, сидящим в Свердловском зале, что сомнений в виновности врачей нет **никаких**<...> Мы слушали все это с тяжелым чувством» (*Шепилов Д.Т.* Воспоминания // Вопросы истории. 1998. №7. С. 32).

попросить следователя лучше обращаться с арестанткой и предложил содействие в передаче ей теплых вещей.

Эпизод второй. Домоправительница Певзнеров Евгения Степановна (к сожалению, не знаю ее фамилии) была вызвана к следователю, который сначала упрекал ее в кулацком происхождении, а потом, в противоречии с этим, попытался ей доказать, что профессорская чета ее эксплуатировала, и чуть ли не выражал ей в связи с этим сочувствие. Это-то и возмутило Евгению Степановну больше всего, и она заявила своему собеседнику, что он в жизни не видел столько денег, сколько она могла получить чаевых за один профессорский прием, если бы их брала. Этим допрос окончился, и она была отпущена.

При освобождении Л.М. Певзнер Берия сам явился на рассвете 4 апреля 1953 г. в ее камеру и просил не вешать телефонной трубки, если после первого прочтения по радио в 6 часов утра сообщения *«В МВД СССР»* иностранные корреспонденты станут звонить ей домой. *«Говорите, что хотите, только не вешайте трубки»*, — просил он. Мне рассказывали, что она узнала о смерти Сталина только дома, как и профессор В.Н. Виноградов, который, входя в квартиру, приписывал ему свое освобождение.

В связи с делом врачей упомяну еще о двух историях. Одна из них была рассказана мне Н.П. Полетикой, другая со слов И.И. Минца пересказана дружившим с ним С.Б. Окунем. Приехав однажды в Ленинград через Москву, Н.П. Полетика мне сообщил, что тот самый Ю.П. Францев, которым на антикосмополитической конференции в 1949 г. В.В. Струве пугнул Корнатовского, подал в качестве заведующего Отделом печати Министерства иностранных дел (или одного из руководителей редакции *«Правды»*) официальную служебную записку по поводу невозможности открытого суда над врачами. Человек этот был нам всем известен и до и после его дипломатической службы. В свое время он заведовал в Ленинграде Музеем истории религии и атеизма, затем возглавлял ЛОИИ, а впоследствии после дипломатической карьеры стал академиком по Отделению философии. По словам Н.П. Полетики, Францев — а освещение судеб-

ного процесса иностранными корреспондентами было бы на его ответственности — ссылаясь в своей записке на просьбы о въездных визах для присутствия на суде, заявленные Л. Фейхтвангером и двумя шведскими кардиологами, к которым Жданов обращался за помощью во время своего пребывания в Финляндии после перемирия 1944 г. Как известно, именно он был объявлен главной жертвой врачей-убийц. Фейхтвангер же поддержал советский суд еще в 30-е годы.

По словам Н.П. Полетики, Францев считал открытый процесс невозможным ни в присутствии этих лиц, ни в случае отказа им в этом. Через полвека я без особой надежды заикнулся перед одним из историков, знающих связанные с этими сюжетами архивы: не поискать ли записку Францева? В ответ я услышал, что искать не нужно, она на месте.

Переданный мне С. Б. Окунем рассказ И.И. Минца относился к сбору подписей сначала под первым, а затем под вторым вариантом письма знатных евреев Сталину в феврале 1953 г. (теперь они опубликованы). Насколько я помню этот рассказ, дело происходило в редакции *«Правды»*, куда вызывали или даже привозили намеченных для подписания лиц, среди которых оказался Рейнгольд Морицевич Глиэр, принятый в ЦК КПСС за еврея. Не упоминая о Хавинсоне, который, как теперь известно, собирал подписи вместе с ним, Минц говорил, что сидел в полном одиночестве и скучал, после того, как во время подписания второго варианта «подвоз» неожиданно прекратился. Он обратился к опекавшему его сотруднику *«Правды»* с вопросом: что он должен дальше делать? Тот сослался на отсутствие распоряжений. Минц должен был явиться на следующий день, который провел над взятым с собой томом Мопассана. К концу этого дня, поскольку никто так и не появился, опекун Минца согласился сам попросить указаний. Как оказалось, обращаться за ними надо было к Суслову. Тот выразил удивление по поводу того, что Минц все еще на своем посту, и велел отпустить его, взяв у него документ. С.Б. Окунь подчеркивал, что все это было еще до того, как Сталина хватил удар.

Коль скоро я упомянул о С.Б. Окуне, мне следует сказать несколько слов о нем как человеке, оказавшем боль-

шое влияние не только на своих учеников, самый блестящий из которых, рано скончавшийся, как и сам С.Б. Окунь, Ю.Д. Марголис, успел написать и выпустить в свет книжку о своем учителе, но и на многих ленинградских историков разных поколений, к которым я с гордостью причисляю и себя. С.Б. Окунь обладал ярким природным умом, опытом архивной и публикаторской работы, был компетентным театралом, к которому прислушивались Н.П. Акимов и Г.А. Товстоногов. Еще в 1938 г. он выпустил в свет лекционный курс по истории первой четверти XIX в. В сущности, это была история царствования Александра I. Впоследствии ему удалось несколько раз переиздать этот курс, перерабатывая его и присоединив историю царствования Николая I. Сейчас курс этот иногда подвергают критике, но нельзя игнорировать того, что С.Б. Окуню удалось таким способом преодолеть запрет, невысказанный, но совершенно определенный, под которым долгое время оставалось изучение внутривосточной истории XIX и начала XX в. Блестящий лектор, читавший не только в Университете, но и в Институте им. Герцена и в Библиотечном институте, он очень успешно руководил аспирантами. Среди его многочисленных учеников несколько стали профессорами, сыгравшими вместе с другими большую роль в развитии исторических знаний в Ленинграде.

На рубеже 40-х и 50-х годов прием в аспирантуру часто производился по анкетным данным, так как преподаватели кафедр общественных наук в вузах должны были утверждаться партийными органами, а состав этих кафедр после «попковского дела» стремились обновить. Сейчас же после него был даже создан специальный институт для подготовки преподавателей, в том числе из иногородних. Ему были отведены две аудитории над истфаком (кажется, там был тогда географический факультет), в одной шли занятия, другая использовалась как общежитие. Н.Я. Иванов, поначалу заведовавший этим учреждением, предложил Б.А. Романову осмотреть его, а тот взял с собой и меня. Когда мы вернулись на кафедру истории СССР, Н. Я. Иванов спросил Б.А. Романова о его впечатлении. «*Прекрасное заведение, и с кроватями*», — последовал ответ.

Среди этих людей было много нуждавшихся в особой помощи ввиду недостаточности подготовки. С.Б. Окунь был в этом очень полезен. В шутку о нем говорили, что он может «остепенить» телеграфный столб. Он знал об этом и не обижался. Умелым выбором темы, обеспеченной новыми источниками, он восполнял недостаток профессионализма у некоторых аспирантов, на руководство которыми был вынужден согласиться. Бывали и комичные случаи. Об одном из своих университетских учеников он говорил, что тот пишет хорошо, но в каждой последующей главе то же, что в предыдущей. Апофеозом его был, однако, случай в Институте им. Герцена. Там под его руководством успешно защитила диссертацию аспирантка, от которой этого никак не ожидали. Заместитель директора проф. Н.Г. Казанский пригласил С.Б. Окуня, чтобы узнать, как ему удалось этого добиться. Тот объяснил, что послал ее в архив одной из дальних областей, где был нетронутый материал по важной теме, и т. д. Казанский спросил о возможности оставить успешную исследовательницу на кафедре истории СССР Института им. Герцена, на которой по причине чистки кадров то ли уже имелись, то ли ожидалась вакансии. *«Тутя решительно возразил»*, — рассказывал С.Б. Окунь. И пояснил (разумеется, мне, а не Н.Г. Казанскому): *«Когда нужно продать штопаные брюки, их несут на дальнюю барахолку, а не предлагают соседу по коммунальной квартире»*. Дама эта уехала преподавать по распределению и делала это весьма успешно до тех пор, пока не пришла в институт милицейская бумага о ее задержании как аферистки, у которой при обыске были изъяты поддельные документы о среднем и высшем образовании и подлинный диплом кандидата исторических наук.

Такова была цена, которую С.Б. Окуню приходилось платить за то благотворное для судьбы исторической науки в Ленинграде влияние, которое ему удавалось на нее оказывать. Он объяснял это тем, что ее официальные лидеры, не видя в нем, беспартийном еврее, ни конкурента, ни одобренного «в сферах» идеолога, относились к нему с доверием, были с ним откровенны и даже просили совета.

Я упоминал уже о своей работе в Библиотечном институте в 1953—1955 гг. Это было уникальное по обстоятельствам 1949 г. и последовавших за ним лет учреждение. Его директор Петр Ерофеевич Никитин был едва ли не единственным руководителем учреждений такого рода, уцелевшим и после «ленинградского дела» на своем месте. Объяснялось это тем, что, будучи при Попкове заведующим Городским отделом народного образования, он чем-то навлек на себя недовольство и был незадолго до «ленинградского дела» снят с этого поста и назначен директором Библиотечного института. По административным понятиям того времени это было понижение, и в ходе попковского дела его не тронули, назначив заместителем директора приехавшего москвича Николая Петровича **Скрыпнева**. Затем тот стал директором, а Никитин возглавил Музей Ленина, в состав которого входили многочисленные ленинские квартиры и места. Оба они были людьми умными, опытными и порядочными и старались вести дело так, чтобы ему не повредить или свести неизбежный вред к минимуму.

Многодетный отец, П.Е. Никитин был озабочен личными судьбами студенток, особенно иногородних. Помню, как осенью 1954 г., провожая на Балтийском вокзале девичий десант, направлявшийся на уборку урожая кормовых в Сланцевский район, он собрал в кружок нас, преподавателей, возглавлявших группы, ехавшие в разные колхозы, и почти просительным тоном заговорил о матерях, доверивших институту и ему в сущности еще девочек... Я несколько отвлекусь для рассказа об этой поездке, связанной для меня не только с борьбой за девичью нравственность, она дала возможность

увидеть настоящую жизнь народа и ощутить то расстояние, которое было между ней и предметами наших интеллектуальных забот, письменных и устных, официальных и неофициальных. По приезде в деревню я повторил перед старушками, у которых мы должны были квартировать, речь Никитина. Они успокоили меня тем, что не только парней, но и мужиков в деревне нет. Их интересовало другое — сколько стоил железнодорожный проезд всей нашей команды. Узнав сумму, они сказали, что за часть ее *«сами вытаскали бы весь этот турнепс»*. Таковы были, выражаясь языком Сталина, *«экономические проблемы социализма в СССР»*.

Нескольких девушек взяла к себе жизнерадостная старушка, привлекавшая их ссылкой на то, что у нее для травли клопов *«вволю керосина»*, которым ее снабжает племянница. *«У меня и свет проведен, — говорила она, — только лампочки нету, но племянница обещала свою старую»*.

С остатком своей паствы я поселился в другой избе, где через час-другой пережил тяжкие потрясения, увидев в пристройке для скота человек 5 мужиков. Но моя хозяйка успокоила меня, объяснив, что это механизаторы, которые еще с лета не снимают промасленных комбинезонов и до конца уборки, пока они не сходят в баню и не переоденутся, мои опасения беспочвенны. *«Гуляют они потом, но вас уже не будет»*, — добавила она.

Женщина большого ума и исключительного достоинства, она поделилась со мной некоторыми обстоятельствами своей жизни, которые, несомненно, были чисто российско-го происхождения или свойства. Показав мне фотографию своей сестры, объяснила, что та известный врач в одном из городов России. Сама она, прожив чуть ли не всю свою жизнь в трех-четырех часах езды от Ленинграда, в нем так и не побывала. Дальше Нарвы, где жила дочь, не ездила. Мечтала о том, чтобы колхоз за хорошую работу устроил автобусную экскурсию в Ленинград. После молитвы, обращаясь к портрету Г.М. Маленкова, говорила: *«Дай Бог здоровья Егорию Максимилиановичу. Сельскохозяйственный налог споловинил. И государству, оказывается, жить можно, и нам полегче»*.

Муж ее пас коров, не колхозных, а частных. Их владелицы должны были вечером по очереди его кормить. Но наша хозяйка собирала с них натуроплату и каждый вечер встречала его дома. Сняв с него задубевшие сапоги, она ставила перед ним «маленькую» и горячие щи. А сама, подперев голову рукой, сидела напротив. Дождавшись того момента, когда, как ей казалось, он согрелся и смягчился, она произносила просительно и чуть лирично (слово «вкрадчиво» было бы неуместно): *«Колюн, а Колюн, а, може, у их любовь...»*

После длительной паузы раздавался ответ в вопросительной форме: *«Ему портки есть кому помыть, аль нет? Вот у него и любовь...»* После второго или третьего раза эта концепция любви была мне разъяснена. Перед нашим приездом, рассказала мне хозяйка, через деревню прогоняли, как она выразилась, власовцев. И было заключено несколько браков (не знаю, были ли они оформлены). Один из них был заключен племянницей хозяина, которая относилась к делу так серьезно, что, хотя ее мужа, как и других, «погнали дальше», добивалась дядинового одобрения.

Дважды я слышал там слова, которые были до некоторой степени аналогичны официальным разговорам в нашей среде. Хозяин-пастух, мнению которого в деревне придавалось значение, поскольку он бывал на земляных работах в Ленинграде, вдруг обратился к судьбе Каменева и Зиновьева, и хотя заключил: *«Раз постреляли, значит враги»*, самое его обращение к старой теме было знаменательным./

Более пространным и выразительным был для меня разговор с председателем колхоза в том же Сланцевском районе Михайловым, к которому я вскоре был отправлен с лекцией. Это был умный человек, к тому же поучившийся в Ленинградской высшей партшколе, с интересом, в частности, слушавший курс русской истории у Л.Е. Анкудиновой. Предметом его размышлений была судьба деревни и колхозный строй. Он видел необходимость некоторых в нем изменений, клонившихся к большей самостоятельности хозяйств. Для этого председателями, считал он, должны быть действительно избранные «мужики», а не спущенные свер-

ху аппаратчики, которые во всем слушаются партийных директив. *«Вот я, — говорил он, — ничего не боюсь. Ниже мужика меня не поставят, а я и есть мужик, и свое семейное хозяйство не бросаю. Потому и могу делать в колхозе по-своему».* Конечно, это было уже **послесталинское** мышление.

Поездка наша в колхоз возымела отдаленные последствия. Весной 1955 г. П.Е. Никитин вызвал меня и сообщил, что одна из моих спутниц по поездке ждет ребенка. Но моя бдительность не была поставлена этим под вопрос. Оказалось, что девушка познакомилась с одним из работавших в колхозе учащихся ремесленного училища в Сланцах, а затем посетила его во время новогодних каникул.

Но вернусь в Библиотечный институт. В профессиональном отношении в нем задавали тон крупные специалисты по русской литературе и одновременно книговеды и библиографы С.А. Рейсер, Б.Я. Бухштаб, В.А. Мануйлов. Как и Б.Л. Раскин, сын близкого друга моего отца Л.Е. Раскина, преподававший в институте западную литературу, с которым я сразу подружился, С.А. Рейсер, Б.Я. Бухштаб стали моими регулярными собеседниками. У этих немолодых и очень ученых людей я прошел еще одну устную школу, на сей раз из области литературной жизни, хотя они совсем не чужды были исторической и общеполитической тематики. К сожалению, мои с ними встречи были не такими частыми, как хотелось бы: их отношению к слову и тексту, искусству профессионализма следовало учиться и учиться. Появившиеся позже книги С.А. Рейсера по палеографии и текстологии нового времени показали мне, что я и в информационном отношении отнюдь не исчерпал тех возможностей, которые давали мне регулярные встречи с этими людьми. Так, С.А. Рейсер, описывая историю с подделкой дневника А.А. Вырубовой, привел дату смерти одного из ее участников, З. Давыдова, который, как оказалось, умер более чем через 10 лет после того, как я познакомился с С.А. Рейсером. Если бы я с ним об этом заговорил, то, вполне вероятно, мог бы встретиться с Давыдовым. Впрочем, когда я несколько лет тому назад рассказал об этом на занятии, то один из слушателей сооб-

шил, что коллега Давыдова по участию в истории с так называемым дневником Вырубовой О. Брошниковская умерла совсем незадолго до того. Жизнь состоит из упущенных возможностей...

Помню рассказ С.А. Рейсера, тогда еще не опубликованный, о том, как Демьян Бедный купил подделанную двумя мистификаторами якобы новую главу поэмы Некрасова *«Кому на Руси жить хорошо»*. Рейсер в журнале *«Литература и марксизм»* (1929, № 6) разоблачил приобретение Д. Бедного как фальшивку. С.А. Рейсер рассказывал также, что он был на похоронах И. Арманд. Ленин, по его словам, упал на крышку гроба и пришлось силой его поднять.

В нескольких минутах ходьбы от Библиотечного института был Дом писателя, на протяжении десятилетий служивший центром интеллигентской общественной активности, рядом с *«Большим домом»*, Ленинградским управлением НКВД (затем МГБ, КГБ). После смерти Сталина жизнь Ленинградского отделения Союза писателей, как и литературная жизнь вообще, не просто оживилась, а временами становилась просто бурной. Писателей и литературных критиков начальство побаивалось. Во главе Пушкинского Дома стоял старый московский литературовед Н.Ф. Бельчиков, прибывший в составе послепопковского партийного десанта. Он был у новой ленинградской партийной власти на самом хорошем счету. Но возглавлявший ее один из будущих «вождей» Ф.Р. Козлов ~~почес~~ за благо от него избавиться. Козлов и сам не только ~~входил~~ в состав антипопковского десанта, но был одним из руководителей борьбы с *«попковщиной»*. Однако наступала необходимость убрать приезжих, начиная с наиболее видных из них. Помню рассказ Б.Я. Бухштаба о прощальном напутствии Козлова Бельчикову: *«Поезжайте, Николай Федорович, поживите в Москве, отдохните, времена меняются, а люди нам всегда нужны»*.

Значительным событием в жизни писательской организации, волна от которого также докатилась до Библиотечного института, был приезд Ж.-П. Сартра. Ему уделялось

очень большое внимание со стороны властей, а он вел себя с некоторой игривостью. По окончании встречи в Доме писателя он вежливо всех поблагодарил, а известного специалиста по французской литературе Б.Г. Реизова, члена-корреспондента АН СССР, декана филологического факультета ЛГУ, пригласил поехать с ним в гостиницу поужинать. Но тот исчез, люди в штатском, сопровождавшие Сартра, обожав здание, его так и не нашли. Сартру пришлось ужинать без него. На следующий день один из не сумевших обнаружить Реизова в Доме писателя пришел к нему в деканат филологического факультета университета с вопросом, где же он спрятался. *«В туалете»*, — ответил тот. *«Мы там были»*, — возразил пришедший. *«Вы были в мужском, а я — в женском»*, — ответил Б.Г. Реизов, твердо знавший, что для ужина требовалось не только приглашение Сартра, но и официальное разрешение или даже поручение. Об этом мне рассказал Б.Л. Раскин, ученик Реизова.⁴⁵ Он же принес на кафедру литературы приписывавшийся А. Твардовскому и Э. Казакевичу сонет по поводу ресторанной драки между упоминавшимся уже Суровым и другим лауреатом, М. Бу-

⁴⁵ Прошло с тех пор лет двадцать пять, а обычаи в этой сфере не переменились. В конференции, посвященной, кажется, 60-летию Октябрьской революции, участвовало довольно много иностранцев. Переезды между Домом ученых, где шли заседания, гостиницей, где они жили и обедали вместе со всеми участниками конференции, совершались на специальном автобусе с двумя сопровождающими молодыми людьми. Однажды после обеда в гостинице *«Ленинградской»* (бывш. *«Англетере»*) эти молодые люди не досчитались в автобусе одного из иностранцев. Обожав все, что можно было, они в растерянности вернулись в автобус. Невозмутимый шофер то включал, то выключал мотор. Сидевший рядом со мной начальник Центрального гос. архива Октябрьской революции Б.И. Каптелов, державшийся все время отстраненно, вдруг, когда сознание безысходности овладело всеми, успокаивающе заявил: *«Поехали-поехали....»*, и, назвав пропавшего по имени, примирительно добавил: *«Человек пошел к бабе»*.

бенновым, автором романа «Белая береза». Сонет этот был одним из поэтических вымпелов оттепели. Не знаю, публиковался ли он, и воспроизвожу его по памяти.

Суровый Суров не любил евреев,
Он к ним враждою лютою пылал.
Его за то не жаловал **Фадеев**,
Да и Сурков не очень одобрял.
Когда же **Суров**, мрак души развеяв,
На них кидаться зверем перестал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.
Певец березы в ж.у драматурга,
Как будто в грудь еврея Эренбурга,
Столовое вонзает серебро.
Но верное традиции привычной,
Лишь как конфликт прекрасного с отличным
Их разбирает партбюро.

Сюжетно близкая проза в этой устной хронике текущих событий была представлена рассказом о том, как члены партбюро поставили **Сурову** в вину его прежние погромные статьи, а он доказал, что чуть ли не все они поголовно были их инспираторами. Естественным результатом этого было неблагоприятное для **Суоро** голосование. Но горком его исключения из партии не допустил. «*Правильное решение горкома партии*», — якобы сказал по этому поводу А.Т. Твардовский и в ответ на возмущенные протесты добавил: «*Не надо засорять ряды беспартийных*».

Мое увлечение «обывательскими разговорами» не осталось незамеченным. Я получил по этому поводу предупреждение, исходившее из партбюро от очень мало со мной знакомой **В.А. Ефимовой**.

Ярким впечатлением оказалось для меня появление в Библиотечном институте в качестве заведующего заочным отделением освобожденного из заключения бывшего секретаря обкома партии по идеологии **Николая Дмитриевича**

Синцова. Не очень понятно, почему К.М. Симонов сделал его, штатского человека, прототипом своего героя политрука Синцова. Его внешность настоящего русского барина, изысканность речи и манер и вскоре ставшая очевидной для окружающих внутренняя интеллигентность однажды заставили меня, когда я с ним познакомился поближе, сказать ему, что он очень уж не похож на секретаря обкома. Он в ответ, ничуть не обидевшись, сказал, что сидел во Владимирском центре с В.В. Шульгиным и кн. Долгоруким, а свое назначение на пост секретаря объяснил так. П.С. Попков, который остановил на нем свой выбор, сказал он, имел два главных качества. Во-первых, он независимо от должностного возвышения всегда чувствовал себя общегородским управдомом, отвечающим не только за все городское хозяйство, но и за каждый дом, а, во-вторых, был, как выразился Синцов, гением представительства. Светскость Н.Д. Синцова привела его, как это ни необычно, в обкомовский кабинет секретаря по идеологии в Смольном.

В Библиотечном институте ему был отгорожен порядочный по площади кабинет, в котором вместо Шульгина и Долгорукова иногда сидел с ним я как преподававший заочникам, которых он опекал. После моего ухода из Библиотечного института я несколько раз встречался с Н.Д. Синцовым у доц. С.М. Левидовой, и два его рассказа могли быть услышаны от него там. Первый состоял в том, что в 1943 г. Сталин распорядился, чтобы ленинградские руководящие работники написали свои воспоминания о блокаде (Синцов, если не ошибаюсь, возглавлял радиокомитет). Второй, сюжет которого уже упоминался Ю. Нагибиным, относился к М.М. Зощенко, который после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» остался без всякого заработка. Однажды Синцову позвонил начальник Управления пропаганды и агитации ЦК Д.Т. Шепилов, который от своего имени и от имени находившегося у него А.А. Фадеева попросил помочь писателю. Синцов и директор Ленинградского отделения Гослитиздата, к которому он обратился, решили заказать Зощенко перевод. Было выбрано произведение фин-

ского писателя И. Лассилы «За спичками». Благонадежность автора, расстрелянного белыми в 1918 г., сомнений не вызвала, перевод был сделан и вышел в свет. После этого Шепилов позвонил с просьбой повторить подобную операцию. Но уже ощущались признаки надвигавшегося «ленинградского дела», и Синцов сказал, что его обращение куда бы то ни было в пользу Зошенко может тому только повредить. Шепилов все понял, и чуть ли не на следующий день у Синцова появился человек, вручивший ему пакет с деньгами для Зошенко от Шепилова и Фадеева, который Синцов передал Зошенко, пригласив его к себе.

Поводом для этого рассказа Н.Д. Синцова послужила его случайная встреча с **Шепиловым** через несколько лет после эпизода с Зошенко. Летом 1956 г. Синцов пошел из института в обеденный перерыв в кафе в Летнем саду. Вдруг появился И. Броз Тито, сопровождаемый толпой высокопоставленных лиц. Среди них был Шепилов, занимавший пост министра иностранных дел. Увидев своего прежнего подчиненного, он направился к нему, и между ними состоялся разговор, очень взволновавший Синцова. Лет через десять в Москве я вспомнил об этом рассказе, увидев Шепилова, вышедшего в обеденный перерыв из Главного архивного управления, где он, возвращенный из Фрунзе, но еще **недо-реабилитированный**, занимал должность, кажется, ученого архивариуса. Внешним обликом он так напомнил мне Синцова, что, при переменчивости, но повторяемости номенклатурных судеб, я подумал о возможности их новой встречи, которая больше взволновала бы не Синцова, а Шепилова. Впрочем, Синцова, вероятно, уже не было в живых...

Иногда я встречался со старшими коллегами по Библиотечному институту, уже уйдя из него. Помню принесенный из Дома писателей их рассказ о загородной встрече Хрущева и его соратников с творческой интеллигенцией в 1957 г., когда С.Т. Коненков упал с лодки в пруд, а М.С. **Шагинян** вступила с Хрущевым в пререкания и проявила, как назвал это на собрании в Ленинграде секретарь обкома В.С. Толстиков, «*мелкобуржуазную распущенность, систематически пе-*

ребивая тов. Хрущева и не давая ему говорить». Она, как рассказывали, заявила Хрущеву, что его доклад о совнархозах эклектичен, а он не только отрицал это, произнося бранное слово без первого «к», но и имел неосторожность назвать ее «тов. Шагитян». Услышав неправильно произнесенную свою фамилию, она выразила возмущение тем, что генсек не знает такую известную советскую писательницу, и вознамерилась пешком идти в Москву. С.А. Рейсер добавил, что бывший там А.Л. Дымшиц, вернувшись в Ленинград, звонил ему — и, вероятно, не ему одному — по телефону и восторженным образом отзывался о Хрущеве словами Горького о Ленине: «Какая глыба, какой матерый человечище!» При встрече С.А. Рейсер сказал ему, что он напрасно старался, так как при прослушивании записей сохраняют только компромат, а другие части пленки выбрасывают.

Работая в Библиотечном институте, я выполнял в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде поручения директора Института истории А.Л. Сидорова, готовившего к изданию свою монографию о финансовом положении России во время Первой мировой войны. Ему рекомендовал меня Б.А. Романов, видя в этом путь к внедрению меня в Ленинградское отделение института, подлежащее теперь восстановлению. Кстати сказать, «наверху» с этим не торопились, но вопрос этот был поставлен на партсобрании фронтовиком Н.В. Киреевым. Разумеется, при Сталине такое было бы невозможно. В послесталинское же время парторганизации как ЛОИИ, так и московского института нередко оказывали сопротивление курсу «верхов». Но об этом ниже.

Летом 1955 г. я был зачислен в Институт истории. Первой моей работой было участие в составлении двухтомного сборника документов *«Экономическое положение России в 1917г.»*. В ней участвовала группа москвичей и ленинградцев, выявлявших документы в центральных архивах в обоих городах. Это было время бурного расцвета архивно-публикаторской работы в стране. Одновременно готовились четыре серии фундаментальных публикаций — по истории революций 1905–1907 гг., Октябрьской 1917 г., рабочего и крестьянского движения XIX–XX вв., а также большое число сопутствующих им тематически сборников в различных районах страны.

Вопрос об отношении исследователя к историческому источнику, вставший тогда перед представителями нашего поколения, до сих пор, через полвека, не потерял своего

значения для тех из нас, кто продолжает работу. Помню одно из первых в моей институтской жизни совещание по этому поводу с участием москвичей и ленинградцев, институтских и архивных сотрудников, проходившее в кабинете начальника Центрального гос. исторического архива СССР в Ленинграде В.В. Бедина (ЦГИАЛ), незадолго до того возвращенного на этот пост после ленинградского дела. Как и в случае с вообще нетронутым П.Е. Никитиным, это было редкостью, реабилитированных обычно назначали на другие места. Бедин же был возвращен из Артиллерийского музея, куда он был назначен младшим научным сотрудником после снятия с поста начальника ЦГИАЛа. Недавно в телевизионной передаче в качестве примера нелепости того времени было сказано, что ЦГИАЛ возглавлял майор МВД. Между тем Главное архивное управление входило тогда в состав этого министерства и начальники всех архивов были его офицерами. Мне кажется, что я видел Бедина даже в форме подполковника внутренней службы. А начал он ее постовым милиционером. Человек несомненной природной одаренности, которая, к счастью, не была заглушена избытком политического образования, он сделал партийно-административную карьеру. Отвечал за национальный, в том числе еврейский, вопрос в ЦК Белоруссии (со ссылкой на это называл архивиста высокой квалификации Г.М. Горфейна «еврейской головой», произнося на жаргоне: «идише коп»), был членом комиссии по выработке Сталинской конституции, директором Музея Ленина в Ленинграде, во время войны занимал пост в административном отделе обкома. Однажды в разговоре он обнаружил такую осведомленность в трудах ленинградских историков, что я спросил его: «Неужели Вы все это читали?» Он ответил: «Читал все, что они пишут друг на друга в обком». В людях и специалистах он разбирался превосходно. Вместе с С.Н. Валком был редактором путеводителя по архиву, многие годы остававшегося незаменимым. Как опытный аппаратчик высоко ценил хранимые документы с точки зрения качества работы царских ведомств. «Что-что, — говорил он, — а вопрос готовили как следует».

Во второй половине 1950-х годов он стал членом комиссии по набору бортпроводниц для международных рейсов Аэрофлота и в этом качестве принимал участие в распределении выпускниц филфака ЛГУ. Он рассказывал, что забраккованным с первого взгляда давал совет заняться научной работой, усматривая у них способности именно к этому, а тем, на которых «положил глаз», предлагал заполнить анкеты.

Но вернусь к заседанию, которое проводили он и Сидоров. Основным, во всяком случае, мне запомнившимся в таком качестве, оратором был М.Я. Гефтер, а в том, что он сказал, обратило на себя внимание предупреждение против архивного, как он выразился, фетишизма. Поначалу я решил, что речь шла о том, чтобы массив архивной информации и методы ее обработки не противоречили общеметодологическим установкам и даже вспомнил марксиста-консультанта, знавшего, что, несмотря на факты, *«они все хищники»*. Дальнейшее показало, что дело было и в этом, о чем будет специально сказано, но не только в этом.

Под понятие архивного фетишизма вполне подпадало расхожее представление, согласно которому само то обстоятельство, что документ попал в архив, удостоверяет истинность его содержания, а уж если он был или стал секретным, сомнений в ней не может и быть. Между тем зависимость между достоверностью документа, естественностью его происхождения — с одной стороны, и способом его попадания в архив — с другой, может быть не только не прямой, но даже обратной. Приведу, выходя за хронологические рамки, несколько примеров, действительно предостерегающих против фетишизации архивного достояния, безоговорочно доверчивого отношения к документу любого происхождения, вошедшему в состав архивного фонда или коллекции.

Из членов кафедры А.А. Вознесенского, вернувшихся после реабилитации, мы, сотрудники ЛОИИ, были связаны больше всего с А.И. Буковецким, но среди них был и Я.С. Розенфельд, который во время Первой мировой войны служил у А.И. Гучкова в Центральном военно-промышленном комитете. Разговаривая с ним, я отметил отсутствие у него большо-

го интереса к документам ЦВПК, хотя он стал после возвращения писать монографию о крупной буржуазии России (она была впоследствии набрана, но до сих пор остается неизданной, надо надеяться, что А.Л. Дмитриеву, прилагающему усилия к ее изданию, удастся это сделать). Он ссылаясь при этом на то, что многие из них писал сам, помнит их и не рассчитывает найти там что-либо существенно для себя новое.

Более выразительны, однако, другие запомнившиеся мне случаи. В 1957 г. было опубликован полицейский документ о заседании Петербургского комитета большевиков 25 февраля 1917 г. необыкновенно боевого содержания. Это было агентское донесение, в котором сообщалось, что на заседании предлагалось 27 февраля в случае, если правительство не примет мер к подавлению движения, приступить к строительству баррикад, прекращению подачи электричества, порче водопровода и телефонов.

К чести исследователей, документ этот не встретил отклика в их среде, хотя и подтверждал, казалось бы, версию о большевистском руководстве февральскими революционными выступлениями. В 1967 г. мне было поручено привезти на конференцию, посвященную 50-летней годовщине Февральской революции, М.Г. Павлову. В квартире ее и ее мужа Д.А. Павлова по Сердобольской ул., 35, помещалось большевистское Русское бюро ЦК РСДРП, состоявшее из А.Г. Шляпникова, В.М. Молотова и П.А. Залуцкого. Дочь старого петербургского рабочего-революционера Е. Афанасьева (Климанова), она была очень интеллигентна и осведомлена о событиях прошлого и настоящего, несмотря на то, что почти не видела.⁴⁶

⁴⁶ Когда М.Г. Павловой было предоставлено слово, некоторые из организаторов конференции переглянулись: ведь все трое ее «квартирантов» упоминанию не подлежали, хотя время было не такое уж строгое, как до того. Тем не менее Шляпников оставался нереабилитированным очень долго. Залуцкий тогда тоже реабилитирован не был. Молотов же числился в антипартийной группировке с 1957 г. Но опасения в президиуме, носившие, впрочем,

На обратном пути я познакомил ее с документом о заседании ПК 25 февраля 1917 г. и спросил о ее мнении.

«Голубчик, — ответила она, — это очень просто. На заседании ПК, как правило, присутствовал кто-нибудь из полицейских агентов. В это время, скорее всего, — Озол или **Шурканов**. Я думаю, что это был Шурканов, у него было 11 детей. Он имел обыкновение сам наговорить побольше всяких ужасов, там ведь не сказано, наверное, кто что предлагал, а потом просил у жандармского офицера повысить плату ввиду важности сообщенного».

Таким заурядным оказывалось происхождение этой истории, которое вполне могло быть истолковано как провокационное.

В середине 60-х годов я оказался в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве. На столе стоял вынутый кем-то каталожный **ящик**, в котором среди карточек с громкими писательскими именами мне попала фамилия здравствовавшего московского литературного критика. *«Этот ящик из картотеки упоминаний или из перечня фондов?»* — спросил я. Когда заведующая залом ответила мне, что это личные фонды, и я растерянно пока-

легкий и даже чуть иронический характер, были напрасны. М. Г. Павлова начала свое выступление словами: *«Приходит первый член Русского бюро ЦКи говорит второму: надо послать за третьим...»* Слепенькая старушка преподавала залу урок большевистской партийности, как это тогда называлось. Она напомнила мне нескольких рабочих, участников революции 1905 г., приглашенных на конференцию в связи с ее 50-летней годовщиной. Когда они сняли пальто, оказалось, что ни один из них не был одет в костюм из пиджака и брюк. Вместо этого на них были свитера, так называемые спецовки, лыжные штаны, куртки и т. д. И.И. Минц строго переговорил с присутствовавшим секретарем горкома, и было велено пригласить их на следующее же утро в закрытый для посторонних так называемый голубой зал Гостиного двора, чтобы их там приодели. Однако, поблагодарив, они отказались.

зал найденную мной карточку, она, улыбаясь, сказала, что с некоторых пор личный фонд в архиве наряду с дачей, автомобилем и гаражом вошел в состав джентльменского набора, то ли большого, то ли малого. С самого утра эти фондообразователи занимают очередь в директорский кабинет, иногда всего с несколькими листками в руках.

Во многих личных фондах (и не только такого происхождения) представлены благодарственные и по большей части похвальные отклики различных лиц на присланные им фондообразователем его книги. *«Ваша книга мне очень нравится»*, — ответил одному автору высокопоставленный ее получатель. Вообще-то с человеческой точки зрения нет ничего дурного в том, что пишущему хочется сохранить отзывы о своих работах, да и значение таких отзывов не следует огульно ставить под сомнение, как и других документов, отражающих творческую жизнь. Но и скептическое отношение архивистов имело свое объяснение. В стенгазете ЦГАЛИ я прочитал статью двух сотрудниц, отправленных после кончины художницы С.К. Вишневецкой, вдовы В.В. Вишневецкого, на квартиру, которую она занимала, для того, чтобы перевезти завещанный ею ЦГАЛИ его личный архив. Но оказалось, что архив завещан вместе с библиотекой, которая хранению в ЦГАЛИ не подлежала, а, кроме того, сын от другого брака В.В. Вишневецкого, к которому переходила квартира, требовал ее немедленного освобождения. Между тем для перевозки бумаг надо было произвести хотя бы первичную их обработку, несмотря на то что сам В.В. Вишневецкий, как иронично отмечалось в статье, пронумеровал все свои командировочные удостоверения и проездные билеты. Пришлось обратиться за содействием к председателю комиссии по его литературному наследию К.М. Симонову. Теперь, вспоминая об этой статье, я думаю: а вдруг и предвоенный дневник Вишневецкого, служащий ныне одним из аргументов в спорах вокруг суворовского *«Ледокола»*, попал на государственное хранение этим именно путем? Так что преодолевать архивный фетишизм нужно, хотя и с очень большой осторожностью.

Кстати, о стенгазетах, или стенной печати, как они официально назывались, хотя печатались только на пишущей машинке. Они были обязательными, рассматривались как нечто среднее между газетой (здесь я имею в виду, прежде всего, так называемые многотиражки, издававшиеся типографским способом в больших организациях) и речами на собраниях. Контроль за ними осуществляли парторганизации. Появлялось в них то, что в настоящей печати найти было невозможно (многотиражки Московского и Ленинградского отделений Союза писателей после XX съезда были в этом смысле исключением). Помню стенгазету ленинградских художников во время борьбы за смену на посту председателя Союза художников долгое время его занимавшего А.М. Герасимова. В ней был шарж на него и на постоянно популяризовавшего его работы критика-искусствоведа с подписью: *«Наш уважаемый переседатель и его популизатор»*.

Для меня и моих товарищей, оказавшихся в производственном водовороте восстановленного ЛОИИ, абстрактное теоретизирование на источниковедческие темы как будто никакого значения не имело. Мы оказались целиком под влиянием наших учителей, встретивших революцию молодыми историками классической выучки, полученной ими на источниках по древней и средневековой истории России в Петербургском университете в годы расцвета русской науки. К расширению круга тем и источников по отечественной истории, **которое** явилось результатом революции, они оказались в профессиональном отношении полностью подготовленными. Б.А. Романов называл теоретическое источниковедение, хотя и знал в нем толк, *«доением козла»*. С.Н. Валк, специально этим занимавшийся, выдающийся теоретик источниковедения, археографии, архивоведения, владевший терминологией этих дисциплин на всех возможных языках (на углу Невского и ул. Бродского был газетный киоск, в котором он с середины 50-х годов покупал газеты коммунистических и рабочих партий не то 14, не то 17 стран), старался к ней не прибегать. Желая охарактеризовать ис-

точник как достоверный, он говорил: *«Знаете, это довольно чистосердечно написано»*. Среди его работ есть статья о значении термина «археография», показывающая его скептическое отношение к терминологии. Не произнося никаких слов вроде «архивного фетишизма», он как-то рассказал, что, придя в 1918 г. в Центрархив и получив в свое распоряжение материалы Департамента полиции со всей, говоря нынешним языком, оперативно-розыскной частью, прежде всего нашел дело, заведенное на него самого. *«Очень любопытно, знаете, — говорил он, — ни одного из посещавшихся мною студенческих кружков за мной записано не было, зато я числился членом нескольких, к которым не имел никакого отношения»*. Думаю, что интерес к кружкам отвечал естественным устремлениям молодого человека понимать окружавшую его действительность. Были ли у него политические взгляды? Не знаю. В.С. Дякину он однажды высказал свое одобрение кадетов.

Как известно, после смерти Ленина С.Н. Валк был приглашен в Москву для участия в разработке правил и принципов изучения и издания ленинского наследия. С этим был, по-видимому, связан случай, происшедший незадолго до переезда ЛОИИ из Библиотеки АН СССР в середине 1960-х годов. Я проходил мимо контрольного пункта, где дежурила очень расположенная ко всем нам немолодая женщина Мария Михайловна. Она обратилась ко мне с просьбой проводить в ЛОИИ слепого посетителя. Когда мы с ним пришли в ЛОИИ, он попросил меня представить его С.Н. Валку. Сделав это, я ушел в буфет, где мы с Б.В. Аналичем стояли в очереди. Через некоторое время там появился С.Н. Валк, который, отказавшись от предложенного ему места в очереди, смущенно произнес: *«Странный был посетитель, назвался профессором математики и хотел, чтобы я сказал ему, были ли у Ленина дети»*. А о том, что ему было об этом известно, и почему посетитель обратился именно к нему, промолчал. Добавлю к этому услышанный мною в начале 1980-х годов рассказ известного ленинградского медика проф. Л.Ю. Дымарского о том, как однажды он был приглашен в Москву 4-м управлением Минздрава СССР

для консультации. Встречавший его **врач-организатор** предупредил, что ему предстоит осмотреть дочь Ленина. В истории болезни это, естественно, отражено не было. Сомнения профессора, однако, отпали, когда после благоприятного в медицинском отношении завершения дела он был отведен в **магазин**, где были приготовлены дубленки для всех членов его многочисленной семьи.

Под **проработочный** каток **С.Н. Валк** попал только в 1949 г. (хотя, кто знает, каково приходилось ему до того) в связи со статьей об исторической науке в Петербургском университете. Полагаю, что статья эта вызвала неудовольствие по двойной причине. Во-первых, все связанное с петербургской традицией представлялось в свете так называемого «**ленинградского дела**» 1949 г. криминальным, а, во-вторых, это усиливалось тем, что статья выросла из доклада, сделанного на сессии по поводу юбилея Университета, с большой торжественностью проведенной в 1944 г. его ректором **А.А. Вознесенским**.

По моим представлениям, выходцы из дореволюционной университетской среды мыслили глубже, чем представители последующих поколений. Тем труднее была их жизнь. **Е.В. Тарле**, который казался счастливым, веселым и преуспевающим, в действительности, как это видно теперь из II тома «**Академического дела**», должен был плевать в себя и не только в себя, и не только плевать... Иногда оставаться на воле было не легче, чем сидеть. А к **С.Н. Валку** после войны (об этом недавно я узнал от **Н.Г. Симиной**) пришел поляк, который сказал, что был охранником в германском лагере в Западной Белоруссии, где содержались перед расстрелом мать и две сестры **С.Н. Валка**. Мать просила охранника передать в Ленинград проф. Валку дешевенький дутый браслет, свадебный подарок мужа.

В курс русской истории в дореволюционном университете не входило то, что впоследствии стало называться новым и тем более новейшим временем. Возможно, поэтому **Б.А. Романов** считал, что для изучения «живых», как он выражался, формаций необходим именно тот опыт, который получен при

изучении «мертвых». Хотя он сам занялся не историко-революционной тематикой, а другой стороной новейшей истории России, изучение которой также поставила в повестку дня революция, открыв общественную потребность в ней и создав открытием архивов возможности к этому, я и у него насчитал более 30 работ по историко-революционной теме, несмотря на то, что он любил подтрунивать над Валком, определяющим-де, в каких номерах останавливался тот или иной народоволец, перед тем как бросить бомбу.

Главным же своим делом, придя в **Центрархив**, Б.А. Романов избрал исследование корней внешней и имперской политики царизма в последние десятилетия его существования, природы его дальневосточной экспансии. В глазах некоторых историков старшего поколения изучение этих деликатных сторон недавнего прошлого было, так же как и историко-революционные исследования, для которых в советское время сложилась благоприятная общественная атмосфера, не очень-то почтительным по отношению к свергнутой и умерщвленной царской семье. Б.А. Романов рассказывал мне, что С.А. Жебелев, имея, очевидно, в виду железнодорожное строительство на Дальнем Востоке, казенное финансирование которого Б.А. Романову приходилось исследовать, говорил ему: *«Паровозы, вагоны — такая это история»*. А дело было в том, что связанные с этим обстоятельства носили особенный характер: проникновение в районы Дальнего Востока производилось на казенные деньги в форме капитала якобы частнокапиталистических предприятий, коммерческий характер которых был на самом деле фиктивным.

Высочайший профессионализм Б.А. Романова дал ему возможность реконструировать картину русской экспансии на Дальнем Востоке и исследовать ее природу. Он рассматривал сделанное им как противостоявшее теории М.Н. Покровского, хотя в отношении профессиональном сопоставление было бессмысленным. Только безжалостность анатомирования русской дальневосточной политики в какой-то мере могла приписываться им обоим. Вскоре после моего знакомства с Б.А. Романовым я с мальчишеской непосред-

ственностью сказал ему о том общем, что вижу у него с Покровским. Чуть подумав, он ответил: *«Если ты у бил горячо ненавидимую женщину в ее будуаре, на тебе до конца жизни будет запах ее духов»*.

Советская действительность означала для этих людей, в первую очередь для тех из них, кто побывал в заключении, погружение в бездну самых тяжелых испытаний. Но эти испытания не только не затронули их профессионализма, но и не отразились на чертах личности. Мне несколько раз приходилось наблюдать, как оба — Романов и Валк — в глазах людей неакадемического мира выглядели реликтами прошлого и вызывали необычное для советских времен отношение, как казалось, не только к себе, но и к этому прошлому. А может быть, дело заключалось в простом уважении, которое вызывалось их интеллигентностью. Б.А. Романов оказался в солдатской палате военного госпиталя на Суворовском проспекте, в которой я, проведая его, застал атмосферу преклонения перед *«старцем»* (мы, ученики, так называли его между собой). Дело было еще и в том, что среди больных был курсант военного училища из Горького, который рассказал, что их преподаватель на занятиях говорил о книге Б.А. Романова *«Люди и нравы древней Руси»*.

А отношение к С.Н. Валку трамвайных пассажиров мне приходилось испытывать на своей, если так можно выразиться, шкуре. В последние годы его жизни опекавшая его много лет при участии всей своей семьи Н.Г. Сими́на просила меня (мы жили рядом) ездить с ним в трамвае в ЛОИИ. Несмотря на то что он не выглядел стариком, не был седовласым и отличался большой подвижностью, ему всякий раз уступали место. А он очень конфузился и убегал в другой конец вагона, где опять кто-нибудь вставал. Однажды дело кончилось тем, что он выскочил из трамвая на улицу.

Описание бытовых условий, в которых жили эти люди после революции, должно дать современному читателю представление не только о них, но и о той эпохе, которая, подчинив себе если не все, то очень многое, переделать их все-таки не сумела.

Как многолетний жилец коммунальной квартиры и муж **квартироуполномоченной** я не стану теоретизировать по поводу происхождения коммуналок и той роли, которую наследники традиций русского **социал-утопизма** отводили им в системе идеалов и реалий общества светлого будущего. Расскажу вместо этого историю, приключившуюся в нашей коммуналке. Многие годы моя жена ежемесячно вывешивала составленный ею расчет платы за электричество. С каждой комнаты (их было 6) приходились копейки. Но затем в течение короткого времени в трех семьях (и нашей в том числе) родилось по ребенку. Один из соседей счел принцип расчета, применявшийся моей женой, потерявшим силу и в знак протеста соорудил в своей комнате индивидуальный счетчик с выключателями света в кухне и в туалете. Там было теперь по две лампочки: одна — общего, вторая — индивидуального пользования. **Старушки-коммунальщицы** иногда уличали владельца собственных лампочек в пользовании общими. Но бывало и наоборот. Вернувшись из туалета в комнату, он забывал погасить в нем свой собственный свет. И тогда один из наших соседей, **архитектор-градостроитель** из Института *«Гипрогор»* Б.И. Гусинский, знавший коммунистические принципы архитектуры будущего не понаслышке, человек большой интеллигентности и остроумия, обходил 5 комнат, стучал в двери и говорил: *«Торопитесь, нас угощают»*.

Б.А. Романов из коммуналки, в которую превратилась квартира его отца, профессора Института инженеров путей сообщения, так и не выбрался до конца жизни. Газовый завод неподалеку наполнял воздух запахом *«жареных подлещиков»*, как выражались в романовской семье. Б.А. Романов и его жена Елена Павловна снимали комнату в Пушкине (Царское, потом Детское село), еженедельно он уезжал туда, всегда имея при себе чемодан с рукописью и материалами, над которыми работал.

С.Н. Валк и его жена Бэла Семеновна, сестра известного литературоведа А.С. Искоз-Долинина, до войны жили в одной квартире с близким другом С.Н. Валка библиографом А.И. Малеиным. После его смерти в блокаду соседями С.Н.

оказалась рабочая семья, мать которой помогала Валкам, нуждавшимся в этом ввиду болезни Бэлы Семеновны. Но затем старшая часть семьи выехала, осталась дочь, вышедшая замуж. Иногда, выпив, муж поколачивал жену. С.Н. (к этому времени он овдовел) вопреки советам не выходить в таких случаях в коридор вмешивался, провозглашая: *«Милости-с-дарь, я не разрешу, я знал ее ребенком»*. Однажды и он был схвачен «за грудки». После этого удалось добыть для С.Н. Валка квартиру в одном доме с семьей Н.Г. Симиной, а после того, как этот дом был переселен из-за строительства метро, они вместе переехали на Гражданку. Там С.Н. Валк прожил около 10 лет.

Когда же он умер, я как заведующий группой, в которой он состоял, должен был обеспечить передачу в архив ЛОИИ его бумаг. Квартира покойного переходила к жилищной конторе. С.Н. Валк содержал свой ценнейший архив в большом порядке. Уходя в больницу, он показал мне, где лежит его ответ атаковавшему его в печати автору-любителю по фамилии Никитин (ответ был впоследствии опубликован Д.С. Лихачевым в «Трудах Отдела древнерусской литературы»), еще раньше подготовил список работ, включение которых в запланированный сборник его избранных сочинений представлялось ему целесообразным. Но для перевозки архива в ЛОИИ мы хотели зафиксировать порядок расположения папок, пронумеровать их. Нам нужно было несколько дней. Н.Г. Симиная нашла знакомого юриста в Ленгорисполкоме. Мы с ней отправились туда с сочиненным мною прочувствованным письмом с просьбой об отсрочке. *«Поздравляю Вас, у Вас прекрасное перо»*, — сказал мне с саркастической улыбкой, посмотрев мое послание, вышедший из какого-то закутка пожилой человек. *«А Вам я советую, — уже серьезно обратился он к Н.Г. Симиной, — до понедельника вывезти архив, потому что техник-смотритель должен опечатать квартиру, вынеся из нее все в кладовую, которой пользуются дворники»*. На завтра, в выходной день, мы с сотрудниками ЛОИИ И.А. Баклановой, Л.Н. Семеновой, аспиранткой Л.Б. Нарусовой, с помощью сына Н.Г. Симиной Гриши

погрузили все в нанятую ею машину. В ЛОИИ архив принимали Б.Б. Дубенцов и М.М. Сафонов.

Настоящей трагедией была квартирная история А.И. Буковецкого. Вернувшись из заключения, он застал в квартире вселившегося в нее своего следователя. Тот лишился рассудка, помешавшись, конечно же, на бдительности и надзоре за своим бывшим подследственным. Подняв телефонную трубку, А.И. Буковецкий обнаружил, что телефон не работает. В коридоре на стремянке стоял его сосед, который, разрезав телефонный провод, вложил его концы себе в уши. В другой раз А.И. Буковецкий не мог выйти из комнаты, потому что сосед лежал в коридоре под дверью на полу, пытаясь услышать, что происходит в комнате. Ректор Института советской торговли, где работал А.И. Буковецкий, добился предоставления ему с дочерью отдельной квартиры. Так они жили-поживали...

Но вернусь к тем временам, когда я и мои товарищи оказались не только учениками подлинных мастеров нашей профессии, но и их младшими коллегами. Приближался Двадцатый съезд, и это определяло как общественную атмосферу в стране, так и настроения в среде историков. Множество связанных с этим обстоятельств выходят за пределы моей задачи. Я остановлюсь только на том, что видел или слышал.

Известно, что речь А.И. Микояна на съезде содержала критические слова по поводу освещения событий гражданской войны на Украине А.В. Лихолатом, ведавшим сектором истории Отдела науки ЦК КПСС. Речь шла, надо это подчеркнуть, не о необходимости подлинно научного подхода к теме, а о роли в этих событиях С.В. Косиора и П.П. Постышева, реабилитация которых сокрушала бывшие в ходу исторические конструкции, основанные если не целиком, то частично на их «вражеской» роли. Стояли за этим требованием «партийной правды» вернувшиеся из лагерей О.Г. Шатуновская и генерал (в прошлом комиссар госбезопасности) А.В. Снегов (Фаликзон). Шатуновская была назначена Хрущевым членом Комитета партийного контроля. Старая большевичка Э.М. Бакинская рассказывала мне, что,

явившись туда за партийной реабилитацией, она встретила Шатуновскую в коридоре.⁴⁷ Старые знакомые по Баку, они не виделись много лет и расцеловались на глазах того партследователя, который вел дело Бакинской. Когда она вошла в его кабинет, он заявил, что подготовит все документы для реабилитации, и у него нет никаких к ней вопросов, кроме одного — как попала на свой пост в КПК Шатуновская. В сущности, сермяжная правда в том и состояла, что ей там было не место. Стоявшее у власти аппаратное поколение не желало делиться ею с уцелевшими представителями предыдущего, да еще склонными к разоблачению тех методов, которыми они были от нее отстранены. И через некоторое время после поездки Шатуновской в Ленинград, где она многое сделала, чтобы раскрыть дело об убийстве Кирова, она должна была покинуть КПК, причем первый заместитель его председателя З.Т. Сердюк сказал, что он слишком долго работал вместе с Хрущевым, чтобы выбор — он или она — мог быть сделан не в его пользу. Как говорили, приданные Шатуновской сотрудники нашли в архивах немалое число писем не только с сомнением в официальной версии убийства Кирова, но и с такой трактовкой его причин, которая соответствовала получившей известность частушке:

Огурчики — помидорчики,
Сталин Кирова пришил в коридорчике.

⁴⁷ Мне довелось быть свидетелем довольно сердечной обычной уличной встречи Э.М. Бакинской с той хорошо ей знакомой особой, которую она, вернувшись из ссылки в Ленинград, называла как свидетельницу по предъявленным ей обвинениям. Видя мое недоумение, она, не дожидаясь вопроса, объяснила, что у следствия существовало много возможностей для того, чтобы обеспечить появление таких показаний и помимо прямой их фабрикации с подделкой подписи. Так, собственноручная подпись свидетеля могла быть получена путем доведения его до полной невменяемости. Спрашивать же свидетельницу сейчас, как тогда было дело, значило, по ее мнению, вернуться к допросам.

К этому добавляли, что, как показала выборочная проверка, некоторые из авторов писем не преследовались.

Тому, как массовое партийное сознание противилось децентрализации, было много признаков. Помню, как А.Л. Сидоров, позвав к себе в гости домой участников одной из конференций, предложил тост в память о Бухарине. При этом двое его старых учителей марксизма-ленинизма, приехавших из Горького, чуть не упали со стульев. Сам А.Л. Сидоров начал движение по новому пути. Хотя оно не было, как увидим, непрерывным, он многое сделал. В его вступлении на этот путь, как я это себе представляю, помимо природного ума, высокого профессионализма и преданности делу, сыграло роль влияние его жены Галины Владимировны Лебедевой. Она не без удовлетворения рассказывала мне, что он был свободен от карьерных амбиций, не соответствовавших его научным интересам, ссылаясь на его отказ от поста заместителя председателя Совмина РСФСР по культуре, предложенного ему Молотовым. Все это вместе взятое с трудом перевешивало силу партийного традиционализма, которая, впрочем, сказывалась.

Признаки нового подхода появились уже на происходившем в 1955 г. в Риме очередном Всемирном конгрессе историков, в котором после многолетнего перерыва приняла участие советская делегация. Поразила телеграмма ТАСС, в которой говорилось о приезде в Рим русских историков, в числе которых наряду с советскими были названы Г.В. Вернадский и М.М. Карпович. На заседании, рассказывал мне Сидоров, выступил Р. Пайпс, известный ему по характеристике польского историка, учившего будущего американского профессора в польской гимназии. Пайпс заявил, что господство марксизма в советской историографии плохо не тем, что это марксизм, но своей безраздельностью. Сидоров эту безраздельность отрицал. *«Кто скажет, — возражал он, — что академики Тарле, Веселовский, Петрушевский марксисты, а они крупнейшие советские историки».*

Самый доклад Хрущева на XX съезде о культе личности читался, как известно, не только коммунистам, но и беспартийным. На некоторых слушателей доклад произвел со-

крушительное впечатление. Б.А. Романов узнал о докладе Хрущева в московском санатории «Узкое» от ученого секретаря Института истории А.П. Молчановой, выпускницы Академии общественных наук, относившейся к нему с большим почтением. А вернувшись домой, он прочитал доклад во французском журнале в Библиотеке АН, представленном на выставке новых поступлений, а затем взятом им домой.

У нас, молодых, общей концепцией доклада отнюдь не потрясенных, возникли по содержанию его частные вопросы. Так, например, было непонятно, почему среди названных Хрущевым депортированных во время войны народов не оказалось немцев Поволжья и крымских татар (месхетинцев тогда не заметили). Помню свой разговор об этом с П.В. Волобуевым, перешедшим в Москве в Институт истории из Отдела науки ЦК примерно тогда же, когда я был принят в ЛОИИ (с тех пор мы были друзьями до конца его жизни). Он не имел ответа на этот вопрос, объяснив, что, работая в ЦК, к национальным делам отношения не имел, хотя Институт этнографии входил в круг его ведения. Может быть, не осталось национальной культуры, предположил он. Я возразил, что с помощью Москонцерта ансамбли песни и пляски как крымских татар, так и немцев Поволжья могут быть составлены по указанию ЦК немедленно, каждый из одних и тех же или разных исполнителей, которые сойдут для этой цели, даже если окажутся евреями. Он, улыбнувшись, сказал, что делается это именно так, но причин того, что эти две национальности не были тогда реабилитированы, он не знал. Впрочем, эти причины, кажется, не установлены и до сих пор.

Мне не довелось слышать его рассказы о работе в ЦК, кроме одного — о том, что существовала неписаная, но строгая установка избегать обычных проявлений партийного руководства по отношению к музыкальному Институту сестер Гнесиных в Москве. Коллеги П.В., ведавшие учебными заведениями, должны были это соблюдать. Его уход из ЦК был, как известно, связан с противоречиями в «сферах» вокруг политической линии. Отдел стремился притормозить

антисталинскую тенденцию, проявлявшуюся еще до Двадцатого съезда в журнале *«Вопросы истории»*, редактором которого была А.М. Панкратова, а мотором редакционного коллектива — ее заместитель Э.Н. Бурджалов. *«Конкретный работник»*, — называла его она. Особая активность Волобуева в борьбе против журнала дала возможность Панкратовой его одолеть. Рассказывали, что она с такой силой надела на П.Н. Поспелова, который был секретарем ЦК, что тот заявил: *«Нет здесь больше никакого Волобуева»*.

Первый номер *«Вопросов истории»* за 1956 г. открывался передовой статьей *«Об изучении истории исторической науки»*. В ней в очень осторожной форме была сделана попытка снять с дореволюционной русской исторической науки **одиум** дворянско-буржуазной, упомянуто о том, что Покровский, критикуя ее, впадал в вульгаризаторство и сам во многом ошибался. В ней были взяты под защиту от очень уж уничижительных оценок некоторые западные и такие советские историки, как Н.И. Кареев и Д.М. Петрушевский. Этот номер журнала был подписан к печати 7 января 1956 г. Едва успел он выйти в свет, как 25, 27 и 28 января состоялась трехдневная читательская конференция, на которой присутствовало более 600 человек и выступило в прениях 37.

Отчет о конференции был напечатан уже в февральском номере. В своем докладе на ней Бурджалов кое-что добавил к сказанному в передовой статье. В частности, говоря о революции 1905 г., он сказал, что у некоторых авторов при ее рассмотрении царизм, либеральная буржуазия, эсеры и меньшевики оказываются на одной стороне, а на другой — одни большевики. Это относилось, собственно говоря, к Краткому курсу истории ВКП(б), но Бурджалов критиковать его прямым образом не стал, отметив лишь, что некоторые историки ограничиваются его пересказом, не развивают выдвинутых в нем положений, *«оставаясь на уровне, достигнутом наукой в 1938 году»*. Но и такая осторожная постановка вопроса была объявлена Г.Д. Костомаровым (Институт истории партии при Московском горкоме) непонятной. Возражала и М.Д. Стучебникова (Институт Маркса-Энгельса-Лени-

на-Сталина). Дело тут было не в науке, а в государственной практике. Именно необходимостью сохранить в неприкосновенности Краткий курс как каноническую основу сталинизма был мотивирован тогда полученный Главной военной прокуратурой запрет на подготовленную уже реабилитацию А.Я. Чаянова и Н.Д. Кондратьева, состоявшуюся лишь в 1987 г.⁴⁸

Гефтер и Сидоров, судя по отчету, Краткий курс не упоминали, сосредоточившись на критике передовой статьи об историографии. Гефтер считал ее «неправильной».

«В ней не выдвинута на первый план критика буржуазной историографии, — говорил он, — а отдельным дореволюционным историкам дана неправильная оценка. Нельзя согласиться с характеристикой, которая дана в передовой статье **Петрушевскому**, с критикой статьи в Большой Советской Энциклопедии о **Карееве**».⁴⁹

Между тем редакция «Вопросов истории» отвергала критику Кареева в статье о нем в БСЭ (некоторые его работы были там, несмотря на высокие оценки его творчества Марксом и Энгельсом, названы эклектическими и антинаучными, в энциклопедии утверждалось, что по мере обострения классовой борьбы в России идейный, методологический уровень его работ систематически понижался). Что касается Петрушевского, журнал возражал против приписывания ему стремления *«задержать развитие советской исторической науки»*.⁵⁰ Гефтер же был по-прежнему строг и к Петрушевскому, хотя Сидоров, в Риме, как мы видели, допускал в его лице существование советского историка-немарксиста. Но Москва — не Рим.

Сидоров считал, что «в статье следовало бы остановиться и на космополитических **взглядах**, имевшихся в **историографии**, а не ограничиваться только критикой ошибок объективистского **порядка**». «Глав-

⁴⁸ Виктор Б.А. Без грифа «секретно». М., 1990. С. 136.

⁴⁹ Вопросы истории. 1956. № 2. С. 208

⁵⁰ Там же. № 1. С. 9.

ный недостаток советской исторической науки» он видел в отсутствии «за последние годы» «марксистской критики буржуазной историографии»,⁵¹ хотя именно в эти годы недостатка в ней не было. Им обоим возражала С.И. Якубовская, видевшая «причину роста авторитета журнала» в том, что он «призывает к научной добросовестности».⁵² Второй номер журнала, подписанный к печати 13 февраля 1956 г., попал к читателю в дни XX съезда.

Хрущевский доклад на нем о культе личности был, казалось бы, победой *«Вопросов истории»*. Однако сопротивление *«Вопросам истории»* (линия журнала постепенно получила обиходное название *«бурджаловской»*) оказалось несокрушимым, и в 1957 г. их редакция потерпела поражение. Я был очевидцем и даже участником нескольких эпизодов из этой эпопеи. Однажды в Москве А.М. Анфимов повел меня на одно из антибурджаловских собраний, устраивавшихся по четвергам на истфаке МГУ кафедрой истории КПСС. Он сделал это, как я думаю, неспроста. Известны и его заслуги выдающегося исследователя аграрной истории дореволюционной России, показавшего условность победы капитализма в русской деревне, и тяжелые испытания, которые ему пришлось за это пройти во время волобуевского дела 70-х годов. Однако я не помню, чтобы при какой-либо ситуации была названа та политическая причина, которая делала А.М. Анфимова среди волобуевцев особенно одиозной в глазах начальства фигурой. А состояла эта причина в том, что без капиталиста-кулака и т. п. в предреволюционной деревне идеологическое обоснование сталинской коллективизации становилось затруднительным. Примерно это однажды и только однажды я услышал от Андрея Матвеевича в Ленинграде. Между тем хотя Бурджалов вопроса о коллективизации, насколько я помню, не касался, вопрос этот (чуть ниже я скажу об этом) как будто напрашивался.

Войдя в лекторий истфака МГУ, я словно оказался в нашем лектории на антикосмополитической конференции

⁵¹ Там же. № 2. С. 208.

⁵² Там же.

1949 г. В роли Корнатовского был доцент П.Н. Патрикеев, ярко непримиримый оратор, владевший приемами партийной полемики. *«Во-а-прос о том, был ли Ленин вождем вооруженного восстания, предметом дискуссии быть не может»*, — провозглашал он, подражая, вероятно бессознательно, герою фильма *«Великий гражданин»*. Таких же запретных для обсуждения вопросов в той же форме он назвал несколько. И вдруг сидевшая в верхнем ряду Э.Б. Генкина (Бурджалова не было, и она вместе с Е.Н. Городецким отстаивала линию *«Вопросов истории»*), как бы раздумывая, спросила: *«А не назовели Вы такой вопрос, который (она сделала успокоившую оратора паузу и, как ни в чем не бывало, продолжила) предметом дискуссии быть может?»*

Трудно описать бурю, поднятую противниками *«Вопросов истории»*. Патрикеев напомнил 6 статье Бурджалова, посвященной сталинскому курсу истории ВКП(б) как образцу исторического исследования. Городецкий уподобил Патрикеева редакторам иностранных газет, публиковавших рядом речи членов Политбюро на XIX и XX съездах партии.

До сих пор не могу простить себе, что после этого уехал на вокзал вместо того, чтобы наплевать на билет. Правда, ночлега в Москве у меня больше не было. Позже А.М. Анфимов рассказал, что буря продолжалась. У Э.Б. Генкиной случился сердечный приступ; она ведь была автором монографии о Сталине в Царицыне. Впрочем, отвечая Патрикееву, напомнившему о бурджаловской просталинской статье, Е.Н. Городецкий сказал (это было еще до моего ухода): *«Каждого из присутствующих можно обвинить в этом, кроме Вас, товарищ Патрикеев, потому что Вы вообще никогда ничего не писали или, во всяком случае, не печатали»*.

Кафедра истории КПСС боролась против отступлений от сталинизма, видя в них причину брожения в среде университетской молодежи. В то время как в кружке из аспирантов и молодых преподавателей, организованном Л.Н. Краснопевцевым, старались восстановить ленинизм в его первоизданном виде, студенты-озорники перед экзаменами декламировали:

Я марксизма не боюсь,
Я на Фурцевой женюсь.
Стану тискать сиську я
Самую марксистскую.

Проценты на сталинский капитал страха куда-то исчезли, начинать репрессии заново в полном объеме было невозможно, но аресты отдельных лиц и групп стали нередкими.

А.М. Панкратова и Э.Н. Бурджалов приезжали в Ленинград. Кроме читательской конференции журнала с докладом Бурджалова летом 1956 г., состоялось несколько встреч с Панкратовой. Доклад Бурджалова на конференции в Доме ученых был боевым. Он очень точно наметил наиболее уязвимые в тогдашних условиях пункты официальной историографической концепции. Прения не носили такого уж вызывающего характера, хотя один из их участников, представившийся сельским учителем, заговорил было о коллективизации. Тем не менее ленинградское партийное начальство, а скоро будет показано, что не только оно, пришло в движение. О двух выступлениях А.М. Панкратовой я узнал по рассказам, а одно, на встрече с ведущими ленинградскими историками, слышал сам. М.П. Вяткин, заведовавший тогда ЛОИИ, пригласил меня пройти с ним в кабинет директора БАН Г.А. Чеботарева, где собралось человек 20 или 30, среди которых я был младшим по возрасту и по должностному положению. Самое определенное мое впечатление заключалось в полном несоответствии поведения А.М. Панкратовой тем стандартам, которые были характерны в то время для людей ее ранга. А она занимала все сколько-нибудь важные посты в руководстве исторической наукой. Чувствовалось, что она в самом центре борьбы не на жизнь, а на смерть, сознает это и отступать не собирается. *«Они, Хрущев и Булганин, — заявила она в частности, — мне говорят: "Ты, Анна Михайловна (может быть, даже — Нюра. — Р.Г.), скажи своим историкам, чтобы ничего не боялись, обо всем нам писали и говорили. То, что было, никогда больше не повторится"»*. Закончила же она изложение поручения из Кремля, словно

не понимая, а скорее делая вид, что не понимает произносимого, сказав вдруг ставшим строгим голосом: *«А следовательно, — говорят они, — ничего не сообщать, ни в чем не признаваться»*.

В другой аудитории она, по словам бывшего там У.А. Шустера, рассказала о речи Сталина по поводу дела врачей. *«Мы доверили им свои жизни, жизни наших детей, а они — убийцы»*, — передавала она ее содержание.

В Союзе писателей А.М. Панкратова поделилась недоумением по поводу происхождения слов Александра Невского *«Кто мечом к нам придет, от меча и погибнет»*, появившихся в учебниках по истории, хотя слов этих ни она, ни С.В. Бахрушин нигде найти не могли. Сидевший рядом с В.Я. Голантом человек объяснил, что то ли П. Павленко, то ли кто-то еще вставил в сценарий фильма об А. Невском эти слова, представлявшие собой перефразированное изречение: *«Поднявший меч от меча и погибнет»*.

Бывшие очевидными тревожные ожидания А.М. Панкратовой оправдались очень скоро. После читательской конференции в *«Ленинградской правде»* появилась подписанная псевдонимом *«Александров»* статья, строго критиковавшая происходившее на конференции, с приписыванием ораторам того, чего они не говорили, и т. п. За этим стояло официальное служебное письмо в ЦК КПСС, написанное секретарем Ленинградского горкома И.К. Замчевским (он стал послом в Югославии, а затем директором издательства *«Прогресс»*). О письме сообщил в ЛОИИ, разумеется, по секрету, Е.Я. Зазерский. Тогда он работал в Василеостровском райкоме, а ЛОИИ помещалось в Библиотеке АН СССР на Васильевском острове. Он поддерживал дружеские отношения с рядом наших сотрудников до конца своей жизни на посту ректора Института культуры и помогал в работе в течение многих лет, заведя Отделом пропаганды и агитации обкома (пока существовали промышленные и сельские обкомы, он был секретарем Ленинградского сельского обкома по идеологии).

Вскоре после того, как Зазерский сообщил о письме горкома, отправленном в ЦК, я ехал в Москву. Н.Е. Носов и

А.А. Фурсенко посвятили меня в суть дела и поручили рассказать о нем **Бурджалову**, конечно, не называя при этом Зазерского. Выслушав меня, **Бурджалов** улыбнулся и сказал, что письмо **Замчевского** читал. *«И в ЦК не без добрых людей»*, — объяснил он. И добавил, что ждал с интересом, найдутся ли они в Ленинграде, поэтому мое сообщение его обрадовало. В Киеве, по его словам, с ним публично спорили, но писем вслед не посылали, а в Ленинграде поступили противоположным образом.

Известно, что сотрудники **ЛОИИ** во главе с **В.В. Струве** как академиком и **М.П. Вяткиным** как заведующим подписали письмо в президиум ЦК с протестом против статьи в *«Ленинградской правде»* (оно теперь опубликовано). История с последствиями этого письма чрезвычайно показательна как ясно отразившая отсутствие идеологического единства в верхах. В один прекрасный день в **ЛОИИ** раздался телефонный звонок из Москвы, и **А.С. Черняев**, впоследствии многолетний помощник генсека, тогда работавший в Отделе науки ЦК, официально сообщил для передачи всем подписавшим письмо, что оно рассмотрено президиумом ЦК и признано правильным.

Вскоре, однако, мы все были вызваны в Смольный, и я не помню, чтобы хоть кто-нибудь из нас допускал возможность того, что нам уготован там прием как триумфаторам. Одновременно в Ленинград приехал **А.Л. Сидоров**, который вместе со мной засел в архиве. Накануне совещания в Смольном я сказал ему об этом и о том, что я тоже должен там быть. *«Не стоит туда ходить, ничего интересного там не будет, просто надо кое-кого поправить»*, — ответил он. Между тем на общегородском собрании историков заведующий Отделом науки обкома **А.И. Попов** нещадно разругал наше письмо и в той же манере «поправил» каждого из тех, кто его подписал.

Позицию **А.Л. Сидорова** по отношению к журналу разделяли, как я уже говорил, его ученики **П.В. Волобуев** и **М.Я. Гефтер**, но ни в коем случае не находясь под его влиянием, а действуя по собственным убеждениям и мотивам.

Относительно Волобуева я говорил уже об этом в связи с его уходом из Отдела науки ЦК. Что касается Гефтера, то он с молодых лет был ярко партийным человеком. Как считала его соученица по МИФЛИ Л.Е. Анкудинова, устойчиво марксистский характер его мировоззрения и ненависть к классовым врагам психологически усугублялись обидой на отца-нэпмана, оставившего семью.

Другой соученик М.Я. Гефтера по МИФЛИ М.Г. Рабинович в недавно опубликованных воспоминаниях, написанных в 1969 г., обратился к его поведению в 1930-е годы, когда он с глубокой убежденностью и в блестящей ораторской манере настаивал на ужесточении наказаний своим товарищам, родители которых были арестованы. Позже М.Я. Гефтеру пришлось пройти через жизненные ситуации не меньшей сложности. Он рассказывал мне, что, будучи после фронта комсомольским работником, оказался в составе бригады ЦК комсомола, которую вытребовал себе в помощь в освобожденную Одессу возглавивший там управление НКГБ ген. Д. Лебин. По словам Гефтера, генерал был человек умный и не хотел возлагать на свое управление всю ответственность за сортировку студенчества, продолжавшего учебу в университете в оккупированном румынами городе. Москвичи, несомненно, способствовали повышению идеологического уровня следствия, хочется думать, что кому-нибудь из привлеченных это помогло...

Став в 1970-х видным диссидентом, М.Я. Гефтер, как известно, вышел в 1982 г. из КПСС. Это был редкий по тем временам поступок, совершенный также двумя бывшими сотрудниками возглавлявшегося им сектора методологии истории, открытого в 1964 г. и уже в 1969 г. закрытого. В течение лет десяти он был властителем дум значительного круга интеллигенции не только на родине, но и за ее пределами. Своим влиянием он увеличил число участников диссидентского движения. Группировавшийся вокруг М.Я. Гефтера кружок был властям хорошо известен. Г. Павловский, в форме бесед с которым с конца 1980-х годов часто печатался М.Я., еще с 1970-х годов едва ли не самый близкий

ему человек, ныне официальный кремлевский мыслитель и творец государственной идеологии, втянул, как писала М.В. Павловская, «на орбиту вокруг **Гефтера** всех своих и одесских, и московских друзей и жен (меня, грешную, **тоже**)». ⁵³

А после октябрьских событий 1993 г. М.Я. Гефтер стал непримиримым противником Б.Н. Ельцина. Когда я ищу объяснения жизненного пути этого человека, к которому относился с большим уважением как к старшему коллеге, оставившему к тому же и тонкие наблюдения над сталинизмом, я не могу отказаться от **мысли**, несомненно, составляющей мое представление простака. Мне кажется, что в сторону человечности (вероятно, я употребил самое беспомощное выражение из всех возможных) его тянула или толкала семья — жена Рахиль Самойловна с ее благородством и умом, настоящим, потому что он был всепрощающим, и сыновья. Но были и другие влияния, а под конец жизни он покинул семью отнюдь не ради Оптиной пустыни. ⁵⁴

Я далеко отошел от своей первоначальной цели, состоявшей в том, чтобы объяснить неприятие Гефтером открытой Панкратовой и **Бурджаловым** борьбы со сталинской историографией, но читатель после сказанного вряд ли в этом объяснении нуждается. Когда «*Вопросы истории*» были разгромлены в 1957 г., приводились слова Л.М. Кагановича о недопустимости **сталиноедства**. Июньская победа Хрущева над «антипартийной **группой**», ⁵⁵ в которую вошел и Каганович, в деле журнала ничего не изменила. ⁵⁶

⁵³ Павловская М.В. Женский взгляд // Век двадцатый и мир. М., 1996. № 2. С. 113.

⁵⁴ См. странно восторженное описание этого «ухода» — «прихода»: Павловская М.В. Женский взгляд. С. 110—121.

⁵⁵ Это были последние дни жизни Б.А. Романова. Помню его слова о том, что до пленума положение Хрущева было двусмысленным. В коллегиальное руководство Б.А. явно не верил.

⁵⁶ Как и в других случаях, я избегаю здесь полемики с авторами исследовательских работ, не считая себя имеющим на это право (история с «*Вопросами истории*» неоднократно затрагивалась в на-

Интересно, что А.Л. Сидоров, не принимая панкратовско-бурджаловской линии «*Вопросов истории*», вел, в сущности говоря, подкоп под господствовавшую доктрину с другой стороны. О «новопрочтенцах» Ленина, которыми стали ученики Сидорова, начавшие свое движение в «порочном направлении» с устроенной им полемики о значении термина «военно-феодальный империализм» (вопрос этот был поднят в литературе алмаатинским профессором Бровером), я коротко скажу ниже. Пока же отмечу, что сам Сидоров старался в то время подчинить свои шаги академическим интересам.

Вероятно, в 1958 г. он в одном из отделов ЦК встретил директора Соцэкгиза Д.И. Надточеева, пришедшего за финансовой помощью. До Соцэкгиза тот был редактором Сочинений Сталина и, естественно, коммерческого издательского опыта не имел, поскольку сбыт его печатной продук-

учной литературе). Одно исключение я должен сделать. А.В. Савельев («Номенклатурная борьба журнала *“Вопросы истории”* в 1954–1957 гг.» // Отечественная история. 2003. № 5. С. 153), отрицательно оценивая роль А.С. Черняева в курировании журнала после разгрома его панкратовско-бурджаловского руководства, солидаризируется с оценкой этой роли, данной весной 1958 г. новым руководством журнала. Отмечая, что эта оценка была «крайне негативной» и А.С. Черняев покинул ЦК в 1958 г. именно по его требованию, А.В. Савельев игнорирует то очевидное обстоятельство, что новое руководство было назначено с целью вернуть журналу сталинистское направление и активно этого добивалось. Черняев же, как свидетельствует цитируемая в статье жалоба нового руководства, стремился этому воспрепятствовать, беря под защиту тех, кого новое руководство «прорабатывало». Не могу также согласиться с А.В. Савельевым, считающим (с. 158) сложившейся довольно удачно судьбу П.В. Волобуева, который провел 18 лет в роли сотрудника Института истории естествознания и техники. Повседневное общение с членами этого научного коллектива П.В. считал большим для себя благом, но к предмету их занятий он ведь не имел никакого отношения, в чем и состоял репрессивный смысл его направления туда после снятия с поста директора Института истории СССР.

ции был обеспечен. **Цекисты** в деньгах отказали, сославшись на то, что Хрущев даже от оперных театров требует самоокупаемости. Однако, чтобы помочь достойному человеку, ему обещали завизировать список книг, которые издательство хотело бы выпустить по соображениям кассовым, но боится по политическим. Как рассказывал Сидоров, он тут же посоветовал **Надточееву** вставить в этот список воспоминания **С.Ю. Витте**. Совет оказался полезным, «*Международная книга*» заказала, кажется, 150 тыс. экземпляров, но решено было из осторожности выпустить 75 тыс.

Мы с **Б.В. Ананьичем** были привлечены **А.Л. Сидоровым** к этой работе в качестве комментаторов одного из трех томов. Два других комментировали москвичи **В.И. Бовыкин**, **И.В. Бестужев** (впоследствии Бестужев-Лада), **В.А. Емец**, **К.Н. Тарновский**. Наш, 1-й, том вела опытная политиздатовская редакторша **В.П. Готовицкая**, выпускавшая труды **Б.Д. Грекова**. Руководил изданием заведовавший редакцией международных отношений **Н.Т. Божко**, в прошлом разведчик, на лету схватывавший суть любого дела. Издание, появившееся в 1960 г., имело успех, обусловленный, прежде всего, тем, что на протяжении предшествовавших лет тридцати вышедшие в эмиграции книги не появлялись в СССР. Но в газете «*Советская культура*» появилась гневная статья проф. **Ковалевского** (говорили, что он был историографом у **Берии**, а после XXI съезда КПСС хотел издать в Соцэкизе книгу об этом съезде, противопоставлявшемся XX-му как разоблачительному, но потерпел в этом неудачу), в которой клеймилось издание в трех томах и многотысячным тиражом мемуаров монархиста **Витте**. Однако не только страха, но и серьезного к себе отношения статья не вызывала.

И это несмотря на то, что Сидоров не был уже директором Института истории. 19 января 1959 г. его сменил на этом посту **В.М. Хвостов**. Этот день смененный директор провел в Ленинграде, где в ЛОИИ обсуждался сборник документов о внешних займах России, составленный еще при жизни **Б.А. Романова** им и **Б.В. Ананьичем**. После заседания **А.Л. Сидоров** и **Б.В. Ананьич** вместе со мной отправи-

лись в клинику **Отто**, где рожала моя жена. В справочном бюро мне сообщили, что она еще не родила. Мы постояли под окнами, и Сидоров сказал: *«Пойдемте выпьем, ей легче будет»*. Мы отправились в *«Асторию»* и после первого же тоста я узнал по телефону о рождении сына.

Статья Ковалевского, о которой я сказал, что она нас не напугала, относилась к 1960 или 1961 г. Эти годы кажутся мне теперь несколько менее «строгими», чем 1958 и 1959 гг. Еще в 1957 г. (год разгрома *«Вопросов истории»*) были произведены аресты нескольких представителей молодежи, в числе которых оказалась коллега-историк И.С. Вербловская, ныне автор очень интересной книги об А. Ахматовой, отбывшая весь данный ей пятилетний срок, в сущности, за отказ свидетельствовать против своих товарищей. После освобождения она, как и в прежние времена, не могла добиться прописки в Ленинграде. Сейчас же после избрания в итальянскую Академию истории оружия другой историк, **Л.И. Тарасюк**, видный специалист по этой части, был также арестован и отбыл срок. В 1958 г. у меня был верный случай убедиться в том, что любое начальство во всякое время не теряет интереса к устному слову, особенно такому, которое не предназначено к тому, чтобы быть им услышанным. В 1949 г. признали беспринципным мое выступление в защиту **В.Н. Андреева**, но оно было публичным, и я должен был этого ожидать. Предупреждение, сделанное мне в Библиотечном институте до XX съезда, обязательно должно было иметь причиной чье-либо негласное сообщение из тех, сбор которых продолжался. А осенью 1958 г., через два с половиной года после этого съезда, мне стало известно, что на партсобрании в **ЦГИАЛе** о моих разговорах то ли с читателями, то ли с сотрудниками архива было заявлено нечто чрезвычайно неодобрительное, кажется, они были названы обывательскими, а представитель строгого ведомства приходил записать данные обо мне. Недовольны были с этой стороны, как мне сообщили, и приехавшим в архив из Москвы **В.И. Бовыкиным**.

Все это происходило в условиях регулярного появления в СССР иностранных историков, вызывавшего усиленную

бдительность со стороны начальства, которая ставила в неловкое, а то и в смешное положение нашего брата и придавала лицу страны в глазах внешнего мира черты издевательского шаржа. Одной из первых иностранных делегаций, приехавших в ЛОИИ, была группа историков из стран народной демократии во главе с академиком из ГДР Лео Штерном. Увидев их, Б.А. Романов, приглашенный для встречи, шепнул мне: *«Голубчик, они ряженые»*. Через несколько минут Н.Е. Носов в разговоре с Л. Штерном выяснил, что тот из 7-го отдела одного из фронтов Советской армии. Кажется, вслед за тем приехал из США М.С. Гинзбург, который если и был историком, то неизмеримо менее значительным, чем его отец, известный петербургский историк евреев Саул Гинзбург, эмигрировавший довольно поздно. Гинзбург-сын вел себя довольно игриво, он представился полковником американской разведки, добавив, что воевал против японцев на Тихом океане. Пожаловался, что ленинградские родственники неохотно идут на контакт с ним. Это относилось к доктору исторических наук Э.А. Корольчук, видной исследовательнице истории рабочего движения. С.А. Рейсер (не знаю, состоял ли он с М.С. Гинзбургом в родстве) рассказал мне потом, что не стремился к встрече, но она произошла в Рукописном отделе Публичной библиотеки, устроенная его заведующим Н.Н. Розовым, полагавшим, что он доставил этим Рейсеру большое удовольствие. С.А. Рейсер начал с того, что у него дома ремонт и поэтому он не приглашает Гинзбурга к себе. А тот, прощаясь, заявил, что когда бы Рейсер ни приехал в Америку, у него, Гинзбурга, ремонта не будет.

Впечатление серьезного знатока советской исторической литературы произвел известный Сирил Блэк. Он интересовался А.И. Андреевым, который был редактором раскритикованного во время антикосмополитической кампании сборника статей о Петре I. А.И. Андреев работал в ЛОИИ, и С. Блэк заявил, что хочет его повидать. А тот был на даче, но гость, по-видимому, так нам и не поверил.

В 1956 или 1957 г. я былкомандирован на советско-английский симпозиум в Москве, где можно было со всей на-

глядностью убедиться в смехотворно трепетном отношении начальства к таким вещам. Сэр Чарльз Вебстер, историк наполеоновского времени, князь Д.Д. Оболенский, ставший византиноведом, Сетон-Уотсон младший, потомственный английский русист, и другие представляли английскую сторону, А.Л. Губер, А.Л. Нарочницкий, И.И. Минц и другие — советскую. Перед открытием мое внимание привлекли к себе двое очень похожих друг на друга молодых людей в черных костюмах и ярко-рыжих туфлях, а также один из научных сотрудников московского института, доверительным шопотом внушавший советским коллегам, что по каким-то высоким государственным соображениям поступило указание чуть ли не от **Фурцевой**, кроме бутылок с водой, ничего на столы не ставить. Помню дискуссию о происхождении Второй мировой войны, в ходе которой А.Л. Нарочницкий пытался на своеобразном английском склонить гостей к согласию с пресловутой справкой Советского информбюро «*Фальсификаторы истории*». Но принять ее содержание, как и отнести к себе заглавие, англичане не могли. Сетон-Уотсон, отвергая обвинения в приверженности к мюнхенской политике, на хорошем русском объяснил, что он, как и его отец, были ярыми ее противниками. Английский язык с советской стороны звучал неубедительно, несмотря даже на усилия преподавателей Института им. М. Тореца, до тех пор пока не стал переводить А.А. Губер.

Наиболее колоритной была встреча сотрудников ЛОИИ с Айзеком Дон Левиным, патриархом советской темы в американской журналистике, автором книг о Ленине, Сталине, Троцком. В ней участвовали С.Н. Валк, С.С. Волк, Б.В. Анянич, Ю.Б. Соловьев и я. Это было, если не ошибаюсь, уже в 1963 г. Когда мы познакомились, я спросил о происхождении приставки «дон». «*Мозырский писарь*, — отвечал он, — вместо слова "Даниил" написал нечто принятое иммиграционными чиновниками в Штатах за "Дон". Сначала я хотел это исправить, но потом решил: пусть это станет частью моего литературного имени». — «*Так Бы не испанец*», — разочарованно протянул я. «*О, нет*, — сказал он, — *и Вы, я вижу, тоже*».

Он задал нам три вопроса: был ли Сталин агентом охраны, в чем состояли обстоятельства смерти Горького и роль П.И. Рачковского и заграничной агентуры Департамента полиции в создании франко-русского союза. Мы, само собой разумеется, могли рассуждать лишь по третьему из его вопросов. Из присланной им впоследствии книжки о поездке в СССР следовало, что в Грузии он получил доступ к архивам по поводу Сталина и полиции — темы, по которой он печатался.

Из кармана он вынул бумагу на бланке: «*Председатель Совнаркома РСФСР*», подписанную Лениным, с предложением всем военным и гражданским властям оказывать ему содействие. Это была цветная копия того документа, с которым он в поезде Троцкого ездил по фронтам гражданской войны. Добыл ленинское предписание Троцкий. Изумление на наших лицах Левин истолковал как испуг перед увиденным живым троцкистом и принялся нас успокаивать, говоря, что он не троцкист уже потому, что буржуй, просто Троцкий в Нью-Йорке обедал у него, когда другого обеда у него не было.

В книге Левина был яркий репортерский портрет Александры Яковлевны Кривенко, которая была тогда ученым секретарем Библиотеки Академии наук СССР, а до того — секретарем Василеостровского райкома партии, попав туда из нашей институтской библиотеки, которой она заведовала. Она и ее преемница в райкоме О.И. Селезнева, инструктор, а затем заведующая Отделом науки обкома З.С. МIRONЧЕНКОВА и даже секретарь обкома З.М. Круглова поддерживали стремление партбюро ЛОИИ сделать заведующим ЛОИИ Н.Е. Носова. Все они были умные женщины и опытные партийные руководительницы, делавшие ставку не на партийных карьеристов, а на настоящих ученых и порядочных людей, исходя из того, что такие и их не подведут при любом обороте дела.

Отнюдь не потому, что причисляю себя к таковым, отмечу, что вступил в КПСС под женским партийным патронажем. Заявление я подал в 1961 г. с ведома Александры Яковлевны Кривенко, тогда секретаря Василеостровского райкома, о которой здесь сказано. Современный читатель

может найти в этом моем поступке много противоречившего тому, что здесь написано. Однако следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, относительность и условность разницы между членством в партии и беспартийностью, проницаемые грани между этими двумя положениями в тогдашнем обществе. Во-вторых, — и на это я хотел бы обратить внимание читателя применительно к **послесталинским** временам — «на местах» партийные организации, «**первички**» (по терминологии того времени), иногда под влиянием активных коммунистов, менее других склонных к традиционному мышлению и поведению, действовали если не вопреки указаниям, то в обход их. Это было, несомненно, отражением борьбы в верхах и относилось как к идеологической дисциплине (призывы к ее соблюдению раздавались в устной аппаратной речи), так и к кадровой политике. Здесь приведены московские примеры такого рода — партком Института истории АН СССР с секретарем В.П. Даниловым и его заместителями К.Н. Тарновским и А.М. Некричем и «**первички**» нижнего этажа, в которых активную роль играли М.С. Симонова и В.А. Емец.

У нас в ЛОИИ «контрольный пакет акций» в партийном бюро был с начала 1960-х годов у отстаивавших интересы дела **В.И. Рутенбурга**, **Н.Е. Носова** и **А.А. Фурсенко**, которым **Б.В. Ананьич** и я (мы вступали в партию вместе) представлялись их союзниками. Что касается **Б.В. Ананьича**, ставшего вскоре секретарем партбюро, они в нем не ошиблись, как и в сменившем его на этом посту **А.Н. Цамутали**. А моя помощь в силу моей организационной беспомощности сводилась по большей части к искреннему, но платоническому сочувствию «правому делу».

Роль партийно-аппаратного начала сказалась в деле с назначением **Н.Е. Носова** заведующим ЛОИИ. Директор Института истории академик **В.М. Хвостов** упорно не желал назначения **Носова**, скорее всего как человека, обладавшего независимым характером. Граф, ставший крупным советским чиновником и функционером КПСС, **Хвостов** прошел нетривиальную жизненную школу. **М.К. Рожкова**, вдо-

ва Н.А. Рожкова, видный специалист по экономической истории XIX в., рассказывала мне, что Хвостов довольно скептически относился к попыткам ее и ее товарищей усвоить марксизм. Ранние его работы по истории российской внешней политики носили довольно критический по отношению к ней характер. С началом войны он в составе Военно-политической академии им. Ленина оказался в башкирском городе Билибее. Там же был и С.Б. Окунь, рассказавший мне, что при аттестации их обоих явилась трудность. Профессора — члены партии — стали полковыми комиссарами. А Хвостову и Окуню как беспартийным нельзя было присвоить это звание, полагавшееся политработникам. Звания офицеров административной службы, впоследствии присваивавшиеся в таких случаях, еще не были тогда введены, и оба оказались интендантами 1-го ранга, что весьма способствовало репутации Хвостова на местном рынке, где он менял кое-что из пайка.

Когда немцы были у Москвы, он подал заявление о приеме в партию и впоследствии был назначен заведующим входившим в состав Наркоминдела Архивом внешней политики. Написанный им второй том *«Истории дипломатии»* был выдержан в строгой академической манере. Как чиновник центрального аппарата, не связанный с местными властями, он в деле с назначением Носова игнорировал мнение ленинградских партийных органов и в очередной свой приезд в ЛОИИ не знал даже, что присутствовавшая, как обычно, при встрече с ним З.С. Миронченкова не инструктор Отдела науки, как это было раньше, а заведующая этим отделом. В конце визита, — рассказывали участники этой встречи, — граф все-таки учтиво предложил даме подвезти ее на вызванной им академической машине. *«Моя машина придет скорее, чем Ваша»*, — возразила Миронченкова. Дело кончилось полным поражением Хвостова: в разгар летнего сезона Носов был утвержден заведующим ЛОИИ на бюро горкома. Мне пришлось по заданию Хвостова участвовать в составлении по материалам ленинградских архивных учреждений сборника документов о российско-китайском разгра-

ничении. Передавая ему сборник в Москве, я сделал небольшой его обзор, он обнаружил большую осведомленность в предмете. Помню, что когда я говорил о неосвоенности пограничных российских территорий в сельскохозяйственном отношении, из-за чего даже для казачьих поселений хлеб приходилось возить из Европейской России, он сказал, что это с тех пор не изменилось. Резко отрицательно отозвался он о производившихся на советском Дальнем Востоке заменах старых китайских географических названий. Задание было вызвано предполагавшимся в 1964 г. развертыванием кампании по этому вопросу во многих органах печати. Со снятием Хрущева это намерение было отставлено. Хвостов, впрочем, успел свою статью напечатать в журнале *«Международная жизнь»*.

Чтобы завершить тему о партийных покровительницах ЛОИИ, забегаю вперед, расскажу о приезде в ЛОИИ З.М. Кругловой. Это было уже в 1970-е годы. Защищал диссертацию Е.Я. Зазерский, который как заведующий Отделом пропаганды и агитации был ее подчиненным. В диссертации рассматривался среди прочих вопрос об антирелигиозной пропаганде, что могло взволновать М.Е. Сергеенко, нашу почтенную античницу, которая вела образ жизни монахини вне монастырских стен. На этот случай я сел рядом с ней. Затем сидел А.И. Доватур, крупнейший филолог-классик, а перед самым началом заседания вошла З.М. Круглова и, пройдя мимо нас троих, села рядом с Доватуром. *«Кто эта дама?»* — спросил он театральным шепотом. *«Секретарь обкома партии Круглова»*, — ответил я. Он понял слово «секретарь» в буквальном смысле, а не в его партийно-советском значении, решив, что пришла секретарша диссертанта, и задремал почти у нее на плече. *«Ну, и нестрый же у вас состав Совета»*, — сказала она, садясь в машину.

С началом 1960-х годов стрелка политического барометра повернула в сторону более благоприятной погоды. Это случилось, как я понимаю, в связи с XXII съездом КПСС, хотя закрытие журнала *«Исторический архив»* за публикацию переписки К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данчен-

ко никак признакам оттепели не соответствовало. Об этом опубликованы исчерпывающие воспоминания сотрудников журнала. Я могу к ним добавить только то, что сидел рядом с его редактором Д.А. Чугаевым на конференции в Ленинграде, когда ему сообщили, что он вызван на заседание секретариата ЦК, и предложили билет на самолет в Москву. Старый партиец, он тем не менее сказал мне, хотя мы познакомились в тот же день или накануне, что на секретариат не поедет, а о напечатании переписки не жалеет (*«такая она интересная»*). У меня даже появилось подозрение, не знал ли он о секретариате заранее и уехал в Ленинград от греха подальше.

Все же закрытие этого журнала рассматривалось как нечто из ряда вон выходящее. Приезжавший в Ленинград Н.П. Полетика рассказал мне о своей встрече с одним из работников ЦК, с которым он вел переговоры, по-видимому, о судьбе своей концепции происхождения Первой мировой войны, как я понимаю, по поводу приближавшегося пятидесятилетия со времени ее начала. В разговоре был упомянут В.М. Хвостов как вероятный противник Н.П. Полетики. Не знаю, был ли он таковым в тот момент в действительности. Но собеседник Полетики дал ему понять, что Хвостов не всевластен. И действительно, к пятидесятой годовщине начала войны появилось второе, переработанное издание книги Н.П. Полетики о ее возникновении. Как и в 20-е годы, обстоятельства, связанные с Первой мировой войной, могли трактоваться по-разному, в том числе и в печати.

Но со всем, что относилось ко Второй мировой войне, дело обстояло иначе. Двадцатилетие победы СССР над гитлеровской Германией не привело к возможности дискуссии о происхождении и различных событиях Великой отечественной войны. Новые сведения о ней, попавшие в научную и общую печать, составляли лишь малую часть по сравнению с тем, что оставалось достоянием устной традиции или еще закрытых архивных материалов. Помню, как за месяц или два до 9 мая 1965 г. я почему-то спросил своего университетского товарища М.О. Малышева, где он воевал, не

в партизанах ли. «Где только не воевал», — неопределенно ответил он. А вскоре во всех ленинградских газетах и журналах появились статьи о нем как советском резиденте в германской разведывательной школе, выпускники которой забрасывались на советскую территорию через Ленинградский фронт. Приметой этих лет было то обстоятельство, что при крайне медленном ослаблении ограничений в печати участники войны, как и других трагических событий советского времени, публично и особенно на встречах с историками, носивших характер научных заседаний, заговорили о них охотнее и чаще, чем это можно было раньше себе представить. Разрыв между печатным и устным словом, как это для таких времен ни парадоксально, на несколько лет углубился и расширился. Тому были причины не только цензурного, но и доцензурного характера, в некоторых случаях представлявшие тогда несомненными. Помню, как замер большой конференц-зал Академии наук, когда главный маршал авиации А.А. Новиков, в течение некоторого времени после отсидки служивший в Ленинграде, рассказал, как в самом начале войны для психологического воздействия на немецких летчиков был сброшен на немецкий аэродром ящик с телом сбитого немецкого аса. Разумеется, появление таких вещей в печати было немыслимо.

Наш новый коллега в ЛОИИ В.М. Ковальчук, поработавший во время войны в высоких штабах, а затем в Историческом отделе Главного морского штаба, стал приводить к нам военачальников и устраивать их выступления. Кроме тех, о которых будет специально сказано, помню, что выступали на заседаниях Ученого совета ген. М.С. Михалкин, адм. В.Ф. Трибуц, адм. Ю.А. Пантелеев. Но особенное значение имели беседы «бывалых людей» с небольшой группой сотрудников, в числе которых несколько раз оказывался и я. Из заседаний Ученого совета в начале 1960-х годов первым было, пожалуй, заседание по поводу написания «блочного» тома *«Истории Ленинграда»*, когда ген. В.П. Свиридов и адм. Н.К. Смирнов преподали урок скептического отношения к командно-штабным документам, свободного

доступа к которым добивались историки. (До того в архивах с закрытыми фондами довольно широко применялся такой порядок, при котором исследователь должен был отдавать на проверку сделанные им выписки из выданных ему документов, и **А.В. Карасев**, наш московский коллега, нарушивший в 1959 г. своей смелой книгой *«Ленинградцы в годы блокады»* замалчивание этой темы, рассказал мне, что делал выписки из документов Генерального штаба в двух экземплярах: один сдавал на проверку, второй прятал в карман). **В. П. Свиридов** говорил о том, что когда в 1944 г. части под его командованием заняли позиции, с которых немцы обстреливали Ленинград из дальнобойных орудий, их было захвачено меньше, чем ожидали, но ему было приказано в донесении увеличить число взятых.

Н.К. Смирнов изложил историю, приключившуюся осенью 1941 г. с **Н.С. Фрумкиным**, во время войны начальником разведуправления Балтийского флота, на основании разведывательных материалов которого был тогда организован печально известный уничтоженный немцами петергофский десант. **Г.К. Жуков**, вступивший в командование фронтом, после этого отдал телеграфный приказ о расстреле **Фрумкина**, но под влиянием ходатайств разрешил приказа не выполнять, не уничтожая документ,

Н.С. Фрумкин пришел в Москве в более чем скромный номер академической гостиницы к **В.М. Ковальчуку**, и мы слушали его до поздней ночи. До сих пор чуть ли не слово в слово помню его рассказ об обеде с турецким военно-морским атташе в ресторане речного вокзала канала Москва-Волга 21 июня 1941 г. За обедом турок сообщил о предстоявшем германском нападении. По разведывательным правилам пить полагалось всерьез, и **Фрумкин**, чувствуя близость, как теперь бы сказали, отключения, попрощавшись с атташе, сел в машину и сказал шоферу, чтобы тот любой ценой доставил его к **Ворошилову**. Он был введен в кабинет (об обеде, конечно, знали) и успел доложить о полученном сообщении.

В другой раз в том же или таком же номере появился генерал армии **М.М. Попов**, командовавший Ленинградским

военным округом в момент начала войны, а затем — Северо-западным фронтом. Из его рассказов мне запомнились два. Первый — о том, что когда 22 июня 1941 г. около 6 часов утра его поезд приехал в Ленинград из Карелии, где застало его известие о германском нападении, то встречавший его шофер сообщил о начале войны как о факте, кое-кому в городе уже известном. Однако быстрого распространения слухов о войне до официального сообщения, по-видимому, не было: слишком серьезным было дело, чтобы стать предметом слухов. Страх стал барьером на их пути.

Кстати, моя жена утверждала, что в ночь на 22 июня видели проводимые по городу аэростаты воздушного заграждения. Об этом писал известный мемуарист Кулагин. Бывший в 1970-е годы заместителем заведующего ЛОИИ по административно-хозяйственной части А.И. Михайлов рассказывал мне, что был перед войной шофером секретаря одного из райкомов партии по фамилии, кажется, Гуткин, который 21 июня (Михайлов настаивал на том, что это было до начала войны) посетил больницу Мечникова по поводу разрывания госпиталей.

Другой рассказ ген. Попова касался ареста на второй день войны генерала армии К.А. Мерецкова, который находился в Ленинграде. Попову позвонили из Москвы и приказали обеспечить его немедленный приезд туда. Попов предоставил для этого свой самолет. Через некоторое время личный летчик командующего доложил, что Мерецков арестован. На Центральном аэродроме, объяснил летчик, Мерецкова ждали сотрудники НКВД, которые перед тем, как посадить его в машину, надели на генерала привезенный ими с собой плащ, причем таким образом, чтобы закрыть знаки различия.

Дважды я тихо сидел в ЛОИИ в директорском кабинете Н.Е. Носова в числе нескольких слушателей генеральских рассказов. Пожалуй, первым, кого я увидел из пришедших в наш институт генералов, был городской военный комиссар Ленинграда чуть ли не на протяжении всей войны Ф.Ф. Расторгуев, с житейской простотой объяснивший происхождение народного ополчения. Первые же дни войны,

сказал он, выявили невозможность выполнения мобилизационного плана. Часть тех мест, куда в соответствии с ним следовало направлять мобилизованных, была уже занята противником, другая труднодостижима, тем более в короткие сроки. Тогда он, по его словам, обратился 25 июня к секретарю горкома А.А. Кузнецову с предложением таких принципов формирования частей, которые получили известность как создание народного ополчения и были применены повсюду.

С наибольшей полнотой я могу воспроизвести рассказ ген. М.С. Хозина. Его приезд в Ленинград на празднование 20-летия со времени снятия блокады был сопряжен с пренебрежительным к нему отношением со стороны городского руководства. Н.Е. Носову пришлось не только выхлопотать ему билет на торжественное заседание в театре чуть ли не вместо своего собственного и отнюдь не в почетных рядах, но и устраивать его в гостиницу, причем удалось добыть место только в одной из заштатных гостиниц на автовокзале у Обводного канала. И во всем остальном бывший командующий фронтом в самое тяжелое время блокады оказался через 20 лет в Ленинграде всего-навсего гостем ЛОИИ. Причина немилости была неясна: незадолго до того Хозин вышел в отставку с весьма почетного по тем временам поста начальника курсов «*Выстрел*», а в ходе беседы не без иронии упомянул по какому-то поводу, что является секретарем парторганизации жилищной конторы Дома правительства на Каменном мосту. Он говорил четко составленными короткими фразами, довольно образно и стараясь избегать недомолвок. Когда они с Жуковым в сентябрьские дни 1941 г. прилетели на Комендантский аэродром, рассказывал он, и начали путь в Смольный, они были поражены обилием на улицах красноармейцев и командиров, разыскивавших свои части или возможности включиться в формируемые.

В Смольный они сумели попасть, лишь предъявив депутатские удостоверения: Жуков — Верховного совета СССР, а Хозин — РСФСР, так как о назначении нового командования фронтом старому никто не сообщил. Хозин, ставший

начальником штаба, привез написанный рукой А.М. Василевского и подписанный Сталиным приказ о назначении Жукова командующим фронтом вместо Ворошилова. Получить от маршала и его штабных какие-либо сведения о происходившем на фронте, по словам Хозина, приехавшим не удалось. Спустившись во двор Смольного, он нашел там группу командиров, находившихся в таком же положении, как и те, кого они видели в дороге. Среди них оказались ученики Хозина по военной академии, и он организовал объезд ими на броневиках всех участков фронта. К вечеру они вернулись. Хорошо помню, подчеркивал он, тот, который был в районе Горелова, доложил, что не понимает, почему немцы не входят оттуда в город. Незадолго до этого я прочитал книгу Леона Гуре, одну из первых исследовательских книг о блокаде Ленинграда среди вышедших на Западе. В ней были приведены дневниковые записи немецких офицеров как раз за эти дни, в которых речь шла о том, что их танковые колонны, предназначенные для захвата Ленинграда, внезапно получили приказ о переводе под Москву. Я осмелился подать об этом голос. Реакция генерала, как мне показалось, свидетельствовала о том, что это было для него новостью, но вполне вероятной.

Он сообщил далее, что хорошо помнит подписанный им, но не осуществленный приказ о снижении нормы выдачи хлеба со 150 до 75 гр. Бесстрастно произнес фразу о том, что НКВД сообщило ему о раскрытии заговора профессоров Политехнического института, из которых якобы должно было образоваться общероссийское правительство под эгидой Германии.

Жданов, по его словам, проводил много времени в бомбоубежище и всячески добивался того же от Хозина, хотя генерал не любил этого (не из храбрости, как пояснил он, а из-за болезни легких). Тем не менее ему приходилось там подолгу бывать и слушать рассказы Жданова. В частности, тот сообщил о вывозе из ленинградских элеваторов зерна в Германию и Финляндию, произведенном в самые последние перед началом войны дни и чуть ли даже не часы. По

словам Жданова, распоряжение об этом объяснялось необходимостью освободить место для зерна нового урожая. Сейчас я думаю, что Жданов заговорил об этом потому, что сам он был перед войной отправлен Сталиным в отпуск. Именно этот эпизод, изложенный генералом в письменном варианте его воспоминаний, оказался роковым для их опубликования. В издательстве потребовали, чтобы история с вывозом зерна была подтверждена Министерством внешней торговли. Туда был послан запрос, на который, разумеется, последовал ответ об отсутствии сведений. Но через некоторое время нашей сотруднице Л.И. Деревниной позвонил по телефону человек, который читал в Министерстве переписку с ЛОИИ. Он представился управляющим Экспортхлебом в 1941 г., сказал, что продолжает работать в качестве эксперта и может подтвердить факт, сообщенный Хозиным, причем не только сам, но и с участием директоров ленинградских, как он выразился, «емкостей», с которыми продолжает поддерживать связь. Официального значения это, конечно, не имело. Что германского нападения советскому руководству следовало ожидать, было ясно обоим генералам, и Попову, и Хозину. В частности, один из них рассказал, что за несколько дней до 22 июня ленинградские портнихи, обслуживавшие дам из германского консульства, сообщили в НКВД об одновременном получении этими их заказчицами всех своих нарядов, включая недошитые.

Кроме всего, что рассказали о войне генералы, существенное для меня значение имела короткая речь упоминавшегося уже А.В. Карасева. В компании, в которой было несколько участников войны, зашла речь об убийстве на войне. «*Убивал, но в честном бою*», — сказал он. Теперь только я стал до конца понимать нелепость так называемой бесконтактной войны, фактической расправы с безоружными, и ее роковую сопряженность с терроризмом как другой стороной этой страшной медали.

Люди, рассказы которых о войне я излагал, в отличие от поколения наших учителей, о которых шла речь раньше, сформировались при советской власти. Это относится и к

нескольким того же возраста московским историкам, которые в разное, но уже **послесталинское** время позволяли себе вести откровенные разговоры, разумеется, не только со мной. Имею в виду А.С. Ерусалимского, В.М. Турока-Попова, а также П.А. Зайончковского, стоявшего особняком в рядах московских историков различных специальностей.

Впрочем, незаурядность была главным свойством и первых двух. А.С. Ерусалимский⁵⁷ был крупным специалистом по истории Германии и международных отношений, обладавшим острым пером и академическим багажом знатока многочисленных германских изданий документов и участника подготовки ряда томов известной советской публикации *«Международные отношения в эпоху империализма»*. Как известно (об этом писал М.Я. Гефтер, близко его знавший), А.С. Ерусалимский в 1940 г. был у Сталина, прочитавшего написанное им предисловие к переводу на русский мемуаров Бисмарка. Я могу пересказать с его слов, как он к Сталину попал. Л.Е. Шепелев, заведовавший одним из отделов ЦГИАЛа и сидевший в своем кабинете за гигантским столом министра путей сообщения, пустил к себе А.С. Ерусалимского и меня для быстрой выдачи дел. Пробыл час обеда, и Л.Е. Шепелев сказал, что, уходя, должен нас запереть.

⁵⁷ Мне случайно пришлось узнать другой, вероятно, первоначальный вариант его фамилии. Вскоре после знакомства (оно состоялось не позже 1956 г.) мы шли по Невскому из ЦГИАЛа. Он сказал, что вынужден жить у сестры, стесняя ее семью, потому что не сумел устроиться в гостиницу. Я предложил зайти в *«Европейскую»*, где у меня был знакомый администратор. Тот дал Ерусалимскому свой телефон и обещал помочь. Мы пошли вдвоем дальше: сестра А.С. и я жили поблизости друг от друга. Не успел я войти в квартиру, как позвонил администратор: освободившийся номер надо было занять немедленно. А я телефона сестры А. С. не записал. Листая телефонную книгу, я наткнулся на фамилию Ерусалимчик и позвонил туда с извинением и вопросом, не здесь ли остановился А.С. Ерусалимский. *«Нет, ответили мне, не у нас»*, но назвали телефон его сестры.

Взаперти-то А.С. Ерусалимский и разговорился. Он был делегатом московской партконференции, проходившей, если не ошибаюсь, в доме бывшего дворянского собрания рядом с нынешним Театром им. Ленинского комсомола на М. Дмитровке. Был перерыв, делегаты гуляли по фойе, слушая недавно там появившееся радио, вдруг в репродукторах прозвучало: *«Делегата Ерусалимского просят выйти к подъезду»*. Там двое молчаливых людей в форме сотрудников НКВД, удостоверившись, что перед ними действительно Ерусалимский, усадили его в машину. Никаких иллюзий у пассажира, по его словам, не было, и только тогда, когда он увидел, что машина едет не на Лубянку, а, по-видимому, в Кремль, он ожил. *«Я подумал, — рассказывал он, — не такой уж я знатный арестант, чтобы содержать меня в Кремле»*.

Ни в этот раз, ни позже я не решился спросить у него, не было ли у него с тех пор подобия высокого покровительства? Но когда в конце жизни Сталина ученика А.С. Ерусалимского инвалида войны Л.Ю. Слезкина, впоследствии видного советского американиста, кто-то в Управлении кадров Академии наук попытался представить сионистом, он отправился туда и объяснил, что Слезкин, сын известного писателя Юрия Слезкина, происходит из старинной дворянской семьи и в сионисты не годится. А кадровика бес попутал, как я думаю, не столько из-за имени Льва Слезкина, сколько потому, что мать его была замужем вторым браком за евреем, московским актером, братом упоминавшегося уже нашего соседа по квартире градостроителя Б.И. Гусинского. Несмотря на сценическое имя — Виктор Александрович Степнов — было, по-видимому, раскрыто его настоящее имя и тень легла и на пасынка. Но А.С. Ерусалимский разъяснил дело и добился своего.

Он был очень дружен с М.Я. Гефтером, хотя однажды, когда тот делал заметки, сидя в ленинской позе на ступеньках во время перерыва на конференции в Ленинграде, собрал в стороне небольшой кружок зрителей. «Человек системы», он, однако, не занимал никакого официального положения. Природный скептический ум делал его неподходящим

для чиновничьей карьеры, даже безотносительно к еврейской национальности. Помню его рассказ о том, как он обратился к В.М. Хвостову, занимавшему высокий пост в Министерстве иностранных дел (вероятно, это был 1956 г. или около того), с критическим замечанием по поводу исчезновения в печати международно-политической публицистики. Юрий Жуков, в частности говорил он, перестал быть журналистом. Хвостов возмутился: он — редактор *«Правды»!* Что с того, гнул свое Ерусалимский, он ведь больше не пишет. Ах, Вы вот о чем..., — понял, наконец, Хвостов.

Сравнивая Ерусалимского с Туроком, Ф. Кляйн, один из наиболее видных знатоков истории Германии, хорошо знавший их обоих, подчеркивал, что Турок был менее официален. Моим впечатлениям это не соответствует, хотя мое знакомство с Ерусалимским, скончавшимся в 1965 г., было для такого сопоставления недостаточно продолжительным. Отношения с В.М. Туроком продолжались гораздо дольше. О своем происхождении он сообщал кратко, но исчерпывающе: мой папа был лесопромышленник. В молодости он служил в Крестинтерне (Крестьянском интернационале, который был филиалом Коминтерна), поездил по Европе с целями не экскурсионными и не академическими. Женат он был на К.А. Антоновой, видной исследовательнице истории Индии. Когда та была сослана после ареста ее матери, служившей у Зиновьева, В.М. Турок (Турка, как называла его жена) отправился туда, куда она была сослана, и жил там в качестве, как он, в свою очередь, это называл, жены декабриста.

Он был крупным специалистом по истории Восточной Европы, в частности Австро-Венгрии, и особенно Австрии и австрийской компартии. В среде ее руководства он был так авторитетен, что чуть ли не заседания ее политбюро проходили в Москве в кабинете Турока, которым служила отделенная занавеской тупиковая часть коридора его коммунальной квартиры.

Он стоял в центре компании «коминтерновских недобитков» и других москвичей, осознавших глубину кризиса

коммунистической системы и неизбежность ее краха. К тому, что он написал, у него было реалистическое отношение, и он не занимался улучшением изданного или приспособлением его к изменившимся условиям. В начале 60-х годов он поместил в «Литературной газете» фельетонного типа рецензию на учебное пособие по новейшей истории под редакцией В.Г. Ревуненкова, выпущенное кафедрой новой и новейшей истории истфака Ленинградского университета. В сущности, это был удар по теории формаций, составлявшей стержень нашего общего исторического метода в исследовательской и преподавательской практике. Далекие друг от друга географически и во многих других отношениях страны оказывались развивавшимися по одной и той же схеме — обязательный общий кризис капитализма делился на три этапа — и дело с концом. В рецензии Турока все это было подано в ярко саркастическом духе. Между тем периодизация была тогда научным фундаментом исследования и преподавания. По ее поводу допускались споры о частностях. Помню полемику, которую затеял перед большой аудиторией со служившим в ЦК В.М. Хвостовым С.А. Могилевский. Предмет разногласия составляло число периодов, на которые делилась советская внешняя политика: кажется, один настаивал на цифре 21, второй считал, что их было 23, или наоборот.

В.М. Турок помещал фрагменты своих воспоминаний в трудах Института славяноведения. По поводу одного из них высказал в своих мемуарах недовольство Н.П. Полетика, увидевший там пересказ им Туроку сообщенного. Будучи знаком с содержанием очень интересных воспоминаний о Туроке, написанных К.А. Антоновой, в надежде на то, что они будут все-таки изданы, я не стану много писать о нем, чтобы не сбиться на изложение написанного ею. Хочу возразить Н.П. Полетике, заподозрившему в Туроке осведомителя. Это решительно противоречит моим о нем представлениям, сложившимся от нередких встреч с ним в течение лет двадцати. Он остался в моей памяти человеком евромарксистского типа и широчайшей образованности, глубоко-

ко переживавшим поражение социализма с человеческим лицом. Мы никогда с ним об этом прямо не говорили, но мне казалось, что для него это было поражение идеи, а не только насилие над «братской» Чехословакией. Самоубийственное для советской системы значение чехословацкого похода было для него очевидно.

Вообще на протяжении десятков лет я не переставал удивляться равнодушию менявшейся власти к мнениям опытных исследователей различных сторон исторического процесса и общественных явлений вообще. Ведь не только Турок, но и побывавший у Сталина Ерусалимский, и А.Ф. Миллер, потрясающего остроумия человек, специалист по Турции, бывший в 1943 г. в Тегеране, оставались на обочине политической дороги. Иногда мне кажется, что таких людей избегали потому, что они предостерегали против безнравственности в политике по соображениям не только морального характера, но и высшей государственной целесообразности. Я говорю сейчас уже о Петре Андреевиче Зайончковском и его отношении к борьбе с сионизмом в 1960-е—1970-е годы.

«Я не юдофил и не антисемит», — говорил он об освещении еврейского вопроса в своих работах. Когда же А.З. Манфред, его друг, напечатал газетную статью против сионизма, Зайончковский выразил ему свое возмущение. *«Это, ведь, государственная политика!»* — пытался оправдаться тот. *«Значит, Вы человек государственный?»* — спросил Зайончковский. Вопрос этот был особенно язвителен в устах представителя старого дворянского рода, воспитанника кадетского корпуса, потомка адмирала Нахимова (мне он однажды признался, что состоял в родстве и со штаб-офицером при дворцовом коменданте в 1913—1917 гг. полковником Д.Н. Ломаном, известным по фотографии с Распутиным; больше всего он не любил, когда его принимали за сына перешедшего на советскую службу ген. А.М. Зайончковского, автора известной монографии *«Подготовка России к мировой войне в международном отношении»*, оказавшегося участником провокационной операции ОГПУ *«Трест»*, генерала звали Андреем Медардовичем).

Слова о государственной политике не могли не взволновать его и как исследователя, сумевшего создать общую панораму российской государственности 1860-х–1890-х годов. Не могу объяснить, почему на протяжении многих лет, когда в советской историографии невозбранно рассматривались вопросы внутренней политики различных периодов вплоть до начала XIX в., сам этот век и начало XX в. были не то чтобы в этом смысле под запретом, но история царствований этого времени не вызывала одобрения в отличие от предыдущих. Я писал уже, что С.Б. Окунь совершил своего рода прорыв еще в 1938 г. изданием своего лекционного курса о первой четверти XIX в., в сущности об истории царствования Александра I. А П.А. Зайончковский (они были с Окунем близкими друзьями) в 50-е–70-е годы уже немолодым человеком выпустил серию максимально деидеологизированных ценнейших работ о царствовании Александра II и Александра III. Они были основаны на добротном архивном материале, введение которого в оборот он считал своей главной задачей, не останавливаясь часто на углубленном его анализе. *«Ты, Петя, не каменщик, а монтажник»*, — говорил ему Окунь, и П.А., не обижаясь, соглашался.

Политическая история России XIX в. и в дореволюционной профессорской историографии была разработана незначительно. Занимавшиеся этим лица жили на положении свободных художников. Предшественниками П.А. Зайончковского были С.Н. Валк, автор работы, вошедшей в состав макета 1951 г. издания (см. примеч. 6), и Ю.В. Готье, учитель П.А. Зайончковского, напечатавшийся еще в 1938 г.

Впоследствии дело его было продолжено его ученицей Л.Г. Захаровой и др. Значительное влияние на изучение реформаторского процесса оказала В.Г. Чернуха, утвердив необходимость рассмотрения каждого законодательного акта с самого момента появления его замысла, анализа бумажного воплощения каждого из них, начиная с первичных проектов. Эволюция государственно-политической мысли, нашедшая отражение в вариантах законопроектов до того, как появился закон, представляет собой историю

законотворчества, важнейшую составную часть истории государства и права.

П.А. Зайончковский не вдавался, как правило, в специальный анализ источников, хотя был публикатором важнейших из них, относящихся к изучавшемуся им периоду, и руководителем издания всемирно известной многотомной библиографии дневников и воспоминаний по истории России, продолженного его учеником Т. Эммонсом и А.Г. Тартаковским. Опасности архивного фетишизма, о которой, как я говорил, предупреждал М.Я. Гефтер, П.А. Зайончковский, по-видимому, не ощущал, безотносительно к тому, как бы она ни толковалась. Гефтер, кстати, скептически относился к методологии Зайончковского, который на протяжении десятилетий в глазах соотечественников и иностранцев выглядел уникальной фигурой в советской историографии. Среди западных историков России и советологов среднего поколения его ученики, иностранные аспиранты и стажеры Московского университета, занимают видное место и по числу, и по умению. Выступая у нас в ЛОИИ с докладом об американской русистике, А. Риббер, один из видных ее представителей, ныне работающий в Будапеште, сказал, что она сформировалась под влиянием молодого К. Маркса, оказанным через М. Вебера, и непосредственным влиянием П.А. Зайончковского.

В своем общении с иностранцами он не признавал многих из тех ограничений, которые были обязательными. Он считал, что отношения с учениками требуют определенной степени близости, эти отношения имели для него особенное, личное значение. Этим он также отличался от большинства коллег, которые даже учебные консультации иностранцам обставляли таким образом, чтобы не оставаться с ними наедине. Н.Г. Сладкевич, руководивший американцем, был вызван однажды в партком ЛГУ, где к нему обратились с просьбой встречаться с тем хотя бы изредка. Непослушный Зайончковский, член партии с 1930 г., во время войны служивший в 7-м отделе (работа среди войск противника), а после нее чуть было не ставший заведующим библиотекой

Сталина (его жена Ираида Павловна сказала: *«Петенька, либо Сталин, либо я»*), был лишен права выезда за границу.

Академик И.Г. Петровский, ректор МГУ, рассказывал П.А. Зайончковский, был этим смущен и однажды, пригласив его к себе в кабинет, познакомил с дамой в полковничьем, кажется, чине, опекавшей университет по части благонадежности. Петр Андреевич поцеловал ей ручку; жест этот, по-видимому, если не растрогал ее, то поверг в растерянность, но политического доверия к нему не повысил. Новая знакомая сказала, что выезда разрешить не может, но в Москве общаться с иностранцами позволила без ограничений (*«сколькохотите»*),

Это было в конце 1960-х—начале 1970-х годов. В 1980-е годы в Германии ученик П.А. Зайончковского Дитрих Бейрау, зная о моем с ним знакомстве, спросил меня, *«как он может быть таким»*. Я начал с того, что его учитель — старый большевик. Мой собеседник был точно громом поражен — тот никогда, по-видимому, этого не говорил, и тем более своим поведением не показывал. Мало того, Д. Бейрау, решивший, что его учитель побыл в партии и вышел из нее, спросил меня, когда это произошло. Тогда я стал объяснять, что выход из партии был не таким простым делом, и он из нее не выходил. Вопрос был в определенном смысле вполне уместен, потому что, будучи членом партии, П.А. Зайончковский тем не менее должен был приобретать себе пролетарский стаж для поступления в высшее учебное заведение. Сначала он был пожарным в Центральном универмаге, стоял в полном облачении в каске с гребнем посреди зала, присматривая на самом деле за прилавками ювелирной секции. Затем он стал учеником строгалья на заводе, где во время партийных чисток с участием беспартийных его учитель строгаль Николай обыкновенно ограждал его от чрезмерно строгой партийной критики, предлагая оставить его в партии (П.А. получал через райком плавленные сырки на всю бригаду), хотя об успехах своего ученика в профессии давал скептический отзыв. *«Строгаль Петька, конечно, хреновый, но сыркидает»*, — заявлял с трибуны Николай. Обо

всем этом Петр Андреевич рассказал, когда мы с ним обсуждали причины того, что он сумел стать наиболее свободным от догмы исследователем из числа коллег по истфаку МГУ и Институту истории. Я сослался на то, что он начал печататься позже, чем М.В. Нечкина, Н.М. Дружинин (он любил цитировать их чеканные методологические формулировки, иногда через много лет звучавшие довольно неловко) и др. Он с этим в какой-то мере соглашался, приведя в объяснение изложенные выше факты своей жизни, но только в какой-то мере. *«Главная же причина, — сказал он, — состоит в том, что я даже не знаю, поверьте мне на слово, где помещается Отдел науки ЦК, между тем как многие коллеги бывают там регулярно».*

Однажды рассказал, что посещает подмосковную церковь со священником — крещеным евреем, в чем видел доказательство искренности его веры и отсутствия у него казенных связей. По-видимому, это был Александр Мень. Ездил он туда с двумя друзьями, академиком и народным артистом. Каждую неделю они нанимали для этого такси.

Когда после XX съезда в историографии появилась тенденция к восстановлению авторитета М.Н. Покровского, разжалованного после его смерти Сталиным, П.А. Зайончковский был этим недоволен, объясняя, что Покровский активно препятствовал развитию российской исторической науки. Документы, свидетельствовавшие о роли Покровского в расправах над коллегами, еще не были тогда известны. Но у меня было впечатление, что сведениями об этом он располагал.

Приезжая в Ленинград работать в архиве, он жил обычно в «Астории». Номер, в котором я слушал большинство его рассказов, был недорогим и более чем скромным, получал он его при посредстве своего московского друга, инженера «Интуриста», но в глазах тех, кому это не было известно, он выглядел, говоря современным языком, как очень важная персона. В действительности же, придя однажды из архива, он застал свой номер опечатанным. В гневе вбежал он в кабинет директора гостиницы со словами: *«Я — профессор Зайончковский!»* Однако директор поставил его на место,

сообщив, что приехали румынские футболисты. Присущая его рассказам ироническая манера на этот эпизод не распространялась...

Сумев придать своим исследованиям не замутненный идеологической доктриной характер, он лишь однажды, в начале 50-х годов, в написанной в соавторстве рецензии на учебное пособие высказал какое-то строгое методологическое требование, вызвавшее возмущенную реакцию в ныне опубликованном дневнике его коллеги по кафедре С.С. Дмитриева. От «новопрочтенцев» (о них — ниже) он поначалу держался в стороне, придерживаясь свободы от методологических принципов. Но когда началась «проработка», он позвонил П.В. Волобуеву и заявил о своей поддержке. *«Главный мой принцип — быть с теми, кого бьют»*, — объяснил он это мне.

Если говорить о его читателях, он привлекал внимание необычностью сделанного, а для тех, кто его видел и знал, очевидна была неординарность его личности. Среди его знакомых были представители различных общественных слоев, видевшие в нем редкого для тех времен историка-профессионала неказенного типа. Однажды он позвонил мне из Москвы и сообщил, что в Ленинград едет из Москвы внук Саввы Тимофеевича Морозова, и предложил мне встречу с ним. Внук, корреспондент *«Известий»*, которого звали точно так же, как деда, был очень на него похож. В его рассказах бабушка, вдова С.Т. Морозова, которую Горький изобразил ничтожной и серенькой ткачихой, выглядела совсем иначе. Вышла замуж за генерала Рейнбота, московского градоначальника, купила подмосковное имение, которое впоследствии стало называться *«Горки ленинские»*. *«Это было, когда Ульяновы жили у нас»*, — говорила она. После войны, собрав внуков, она поехала с ними в *«Горки ленинские»* (*«хочу, детки, чтобы вы посмотрели, как мы там пили рабоче-крестьянскую кровь»*). Позже внук Морозова издал документальную повесть о своем деде, где есть, вероятно, и более интересные вещи, чем те, что мне запомнились. Но тогда я слушал его яркую и легкую речь с восхищением. Вдруг у меня в памяти мелькнул один из персонажей книги В. Каверина

«Два капитана». В романе он был проходным, но литературный профессионализм Каверина продиктовал мне все-таки вопрос к Савве Тимофеевичу о его сходстве с каверинским героем. Оказалось, что все совпало: Каверин, служивший в войну с СТ., имел в виду, несомненно, его.

В 1965 г., после снятия Хрущева, началось «подмораживание», постепенное и осторожное, угадывавшееся по косвенным признакам. В ознаменование 60-летия революции 1905 г. в Институте марксизма-ленинизма состоялась юбилейная сессия, на которую были из Ленинграда отправлены Б.В. Ананьич и я. Сессия проходила под руководством директора института П.Н. Пospelова. Он вторично оказался на этом посту в 1961 г., выставленный Хрущевым из секретарей ЦК с кратким, но выразительным словесным сопровождением, как говорили, за ленинские цитаты в написанном генсеку докладе для совещания коммунистических и рабочих партий. Цитаты были продолжены Дэн Сяо-пином по памяти и приобрели иной смысл. Низвержение Хрущева привело к повышению репутации Пospelова. В Ленинграде, где он выступал вскоре после октябрьского пленума 1964 г., председательница, которой неясна была до конца глубина падения Хрущева, объявила: *«Слово имеет академик Пospelов, жертва грубости товарища Хрущева Н.С.»*.

На конференции в Институте марксизма-ленинизма Г.М. Деренковский, блестящий знаток и исследователь событий 1905–1907 гг., поставил перед собой цель восстановить в правах ленинскую теорию о трех лагерях в революции 1905–1907 гг. — монархическом, буржуазно-либеральном и революционном, которые уступили место, в *«Кратком курсе»* в частности, — всего двум за счет объединения монархистов и либералов ввиду «контрреволюционности буржуазии». Ему в специальном докладе и тем, кто его поддерживал, это удалось. В целом же конференция оставила у меня впечатление неминуемости каких-то перемен. Я сидел на докладе Пospelова о Ленине между К.Н. Тарновским и А.Я. Аврехом. Во время доклада к Тарновскому подошла дама, которая попросила его как заместителя секретаря

парткома нашего московского института немедленно вместе с ней пойти к секретарю парткома Института марксизма-ленинизма. Доклад Пospelова еще продолжался, когда К.Н. Тарновский вернулся и рассказал мне, что один из наших московских институтских коллег, сын руководящего деятеля, игравшего видную роль в 1952—1953 гг., вместо того, чтобы слушать доклад о Ленине, обходил Институт марксизма-ленинизма, спрашивая в каждой комнате, не было ли в ней Кукина. Вопрос казался странным, потому что заместитель Пospelова Д.М. Кукин редко покидал свой кабинет. Но наш коллега искал отнюдь не Кукина, а пустую комнату, в которой надеялся увидеть оставленный без присмотра ридикюль или портфель, поскольку дело происходило в день зарплаты. Наконец, ему повезло, но он был замечен и доставлен в партком, куда, кроме Тарновского, был вызван и оперуполномоченный из милиции. Тот, однако, посетовал, что «товарищи ученые» не записали номера купюр, без чего обыск не имеет смысла. Тут-то действительно появился Кукин. Спросив, о какой сумме идет речь, он немедленно вручил ее пострадавшей стороне, и дело было закрыто.

Рассказ Тарновского, прошептавшего его мне в левое ухо под аккомпанемент доклада о Ленине, и самый этот доклад окончились одновременно. Но П.Н. Пospelов, отложив текст и обратившись к одному из старейших членов КПСС Ф.Н. Петрову, сидевшему в президиуме, импровизируя, продолжал: *«Мы отмечаем сегодня не только шестидесятую годовщину первой русской революции, но и шестидесятилетие того, как в грудь тов. Петрова Федора Николаевича была всажена царскими опричниками пуля. Это ранение было практически смертельным, но он и сегодня среди нас. Такова, товарищи, стойкость духа этого большевика».*

После аплодисментов слово получил Петров, заговоривший о пользе математики. А ко мне обратился мой сосед справа А.Я. Аврех, объяснивший долголетие Петрова тем, что сам-то он в пулю не верит и потому боится вскрытия. К тому же, уточнил Аврех, он был эсером.

Возвышение Пospelова после снятия Хрущева, объясняли нам сотрудники Института марксизма-ленинизма, дало ему возможность устроить для участников конференции экскурсию в кремлевские кабинет и квартиру Ленина. Возглавленная капитаном и замыкавшаяся штатским наша группа прошла через коридоры Совета министров, встречая немолодых и не по моде одетых женщин-служащих. Молодая женщина-экскурсовод говорила об ульяновской семье без обычной приторной почтительности и даже с некоторым сарказмом. А на заключительном банкете Ю.И. Кирьянов и А.М. Анфимов рассказали мне об одном эпизоде борьбы с Хрущевым перед его снятием, который неопровержимо свидетельствовал, что оно было актом **ресталинизации**. Заведующий той кафедрой истории КПСС истфака МГУ, на антибурджаловское заседание которой в 1956 г. А.М. Анфимов взял меня с собой, Н.В. Савинченко, дал задание одному из своих аспирантов найти в архиве список выборного органа в Донбассе (шахткома или совета), возглавлявшегося Хрущевым, и установить партийность его членов. Среди них оказались меньшевики и эсеры. Это был, несомненно, ответный удар на обвинения Сталина в меньшевизме, выдвинутые в *«Вопросах истории»* Бурджаловым и Снеговым, который, кстати, выступал и в *«Вопросах истории КПСС»*. Обращен он был против Хрущева, выступившего с докладом на XX съезде и допустившего деятельность А.М. Панкратовой и Э.Н. Бурджалова в *«Вопросах истории»*, хотя и не защитившего их в 1957 г.

Не исключено, что Савинченко, кстати сказать, ученик В.Г. Юдовского, не испугавшегося преподавать марксизм-ленинизм дочери Сталина, был связан с кем-то из высокого партийного руководства, в среде которого могли опасаться возвращения Хрущева к антисталинскому курсу. В Москве говорили, что перед отъездом в Пицунду, оказавшимся для него роковым, он предъявил членам партийного руководства рукопись книги Снегова *«Сталин против Ленина»*, сказав: *«Вот один человек, товарищ Снегов, написал мне какую книгу, а вы...»*. Снегов был, как и следовало ожидать, после снятия Хрущева дискредитирован.

В том же 1965 г., что и рассказ о действиях Савинченко, прямое предупреждение о назревающем устроении с указанием его причин, непосредственно относившихся к нашему институту, я услышал от А.Л. Сидорова. Это была последняя моя с ним встреча, весной 1966 г. его не стало. Во время довольно частых предыдущих встреч его рассказы всегда были очень интересны и откровенны, далеко выходя за пределы общепринятой тогда тематики. Помню его рассказ об устроенной в 1935 г. московским Институтом красной профессуры встрече с рабочими-зубатовцами, на которой они «забили» красных профессоров не только яростной защитой самого С.В. Зубатова, но и его организаций, демонстрируя через много лет свою марксистскую подготовку, полученную на лекциях о марксовом *«Капитале»*, читавшихся для них в университете профессорами.

Однажды в Ленинграде, с трудом скрывая иронию и досаду, он рассказал о своеобразной форме реабилитации И.М. Майского. Известно, что тот был арестован незадолго до смерти Сталина как английский шпион и, разумеется, сознался в этом. А затем он, ничего не зная о переменах, оказался в кабинете Берии, который спросил, почему он сделал свои признания, не под влиянием ли недозволенных следственных методов. Стреляный волк, И.М. Майский, заподозрив провокацию, ответил, что давал свои показания по чистой совести. Это, однако, Берию не удовлетворило, и он с такой же легкостью, с какой следователь добился признаний, сумел получить отказ от них. Не успел, однако, бедный Майский насладиться свободой, как был возвращен в тюрьму. Оказалось, что он, английский шпион, был незаконно освобожден из-под стражи главным резидентом английской разведки Берией, объявленным таковым при его аресте в июне 1953 г. Реабилитация Майского была этим поставлена под вопрос. Но и содержание его в тюрьме было нелепым. Его отвезли на дачу и принялись там ублажать, а потом Сидорову было сказано по телефону генеральским голосом: *«Там у Вас академик есть — Майский, так он придет, пусть работает».*

Несколько отвлекаясь, замечу, что в начале 1960-х годов мне пришлось наблюдать И.М. Майского на банкете после докторской защиты, на которой он оппонировал. Он и его жена поражали непринужденностью и светскостью поведения. У него был очень простой и выразительный язык. Один из гостей, противник диссертанта, специалиста по истории Англии Л.Е. Кертмана, и тем не менее приглашенный им на банкет, перепив, обратился к И.М. Майскому с язвительным вопросом: вот мы пьем и они там, на Западе, пьют (тогда еще мало кто там бывал), в чем разница? Тот в ответ рассказал, что он никогда не пил спиртного, и когда приходил к Черчиллю с бутылкой старого армянского коньяка, премьер справлялся с ней в одиночку. Нет, торжествовал гость, Вы не знаете, а я Вам скажу: **закусь** у них не та. Жена доставленного домой гостя требовала недостававшего шарфика, дело получило поэтому огласку, и многолетний парторг М.Н. Кузьмин выговаривал ему не только за шумливость, но и за беспринципность: против диссертации выступал, а на банкет пошел. Но тот ответил, что чужим хлебом попрекать нельзя.⁵⁸

Возвращаясь к встречам с А.Л. Сидоровым, должен сказать, что был потрясен его рассказами о некоторых историях, которые слушал однажды у него на даче в Кратове. Иногда он надолго умолкал. Сейчас я понимаю, что директор знал такие вещи, которые и через полвека с лишним нельзя ни забыть, ни пересказать. Но последний разговор с ним, о котором я уже упоминал, могу воспроизвести слово в слово. Я пришел к нему в Институт кардиологии, в фойе которого в посетительский час толпились больные, их родственники и знакомые. А.Л. Сидоров начал без обиняков с того, что Институт ждут очень трудные времена в связи с

⁵⁸ Дома он принял, однако, меры предосторожности, стал прятать «заначку» под стельку обуви. Когда она достигла достаточного размера, он пригласил в ресторан двоих своих соратников, один из которых ведал приемом студентов. По окончании застолья он с торжеством протянул официанту свои сбережения. Но тот поднял к свету купюру с портретом Ленина и заявил: *«Лобастенький-то истлел...»*

назначением заведующим Отделом науки ЦК КПСС С.П. Трапезникова. Тогда я не знал еще, кто он такой, и А.Л. пришлось мне объяснить, что это партийный работник, который был в аппарате Брежнева в Кишиневе и вместе с ним переехал в Москву. Он писал о марксизме и аграрном вопросе и решил стать доктором исторических наук. Это было еще в 50-е годы, когда Сидоров был директором. На беду нашего института докторантура в Академии общественных наук тогда была, кажется, закрыта, и он оказался докторантом Института истории. При обсуждении работы В.П. Данилов и *«другие ребята»*, как выразился Сидоров, выступали так, как это было принято в институтской среде, без скидок на высокое положение докторанта, которому пришлось услышать о себе многое, свидетельствовавшее о недостаточности его профессиональной подготовки. Понадобилось продление срока докторантуры, продолжал Сидоров, и ходатайство об этом было подписано, но Трапезникову пришлось подождать в директорской приемной. *«Такого не прощают»*, — заключил он.

Его опасения подтвердились уже во время его похорон в марте 1966 г. Позиция С.П. Трапезникова — это необходимо отметить — на протяжении ряда лет соединяла в себе личные обиды с борьбой за «твердый марксизм», как он сам это называл. А Сидоров выпал, как это называлось, из официальной обоймы сейчас же после смерти. Мы с Н.Е. Носовым и Б.В. Ананьичем прямо с поезда приехали в институт на гражданскую панихиду, после которой должно было состояться погребение на правительственном Новодевичьем кладбище. Вдруг стало известно, что разрешение на похороны в гробу отменено, но возможно погребение урны. Смятение было полным, в частности потому, что кремация не была заказана. В конце концов все было преодолено. На поминках я оказался рядом с братом А.Л., трактористом из Оренбургской области. Он был буквально раздавлен и смертью брата, и похоронной эпопеей. *«Я сутра пришел на кладбище, угостил могильщиков, взял у них заступ и отрыл могилу полного профиля, брату ведь. Как же так нельзя, почему?»* — недоумевал он.

Между тем распределение мест для могил и руководство похоронным ритуалом как функция и привилегия высшего партийно-советского руководства при всей горькой смехотворности этого были принятой практикой. В 1958 г., когда скончался М.М. Зощенко, его вдова, как говорили, хотела похоронить его на кладбище в **Сестрорецке**, где у них была дача. Но руководство Ленинградского отделения писательского союза получило в обкоме разрешение похоронить Зощенко на знаменитых Литераторских мостках Волкова кладбища и устроить панихиду в Доме писателя. На ней писатель-сказочник Леонид Борисов, обращаясь к покойному, сказал: *«Говорят, что ты умер, а на самом деле тебя убили, колотили палками по голове, пока ты не умер»*. Последовал отказ в погребении на Волковом кладбище и милостивое разрешение вдове назвать любое другое, могила на котором будет готова к приезду траурной процессии. Она, однако, отказалась от этого, сказав, что похоронит мужа в Сестрорецке. Один из устроителей обратился к водителю похоронного автобуса, который должен был отправляться от Дома писателей на **Волково** кладбище, с просьбой ехать вместо этого в Сестрорецк. Услышав, что хоронить на Волковом нельзя, тот ответил: *«Нельзя, как Пушкина, значит... Свезем, садись кто со мной за жандарма»*.

Это было продолжение традиции сталинского времени. А.М. Коллонтай и М.М. Литвинова хоронили раньше объявленного времени. Мой дядюшка к объявленному в газете часу начала панихиды по Литвинову явился к зданию МИД на Кузнецком мосту и спросил охранника в одном из подъездов, как пройти в клуб министерства (в объявлении было сказано, что панихида состоится там). Тот извинился и сказал, что через этот подъезд туда попасть нельзя. В других подъездах говорили то же самое. Наконец, из ворот выехал похоронный автобус, отправлявшийся на кладбище.

Когда умерла А.М. Коллонтай, рассказывала Б.А. Романову жена Б.Д. Грекова, поддерживавшая с ней знакомство (они жили неподалеку друг от друга), она накануне дня похорон договорилась с норвежкой Лоренсен, секретаршей по-

койной, что придет за час до выноса. Подойдя к парадной, она удивилась, увидев, что автобус уже приехал. Несколько молодых людей загораживали вход и вежливо просили обожждать совсем недолго. Тем временем другие поставили гроб в автобус, и он отошел.

Мы с **Б.В. Ананьичем** провели 1965 г. в «драгоманьяде». Так называлась относившаяся еще к 1880-м годам история украинского ученого и мыслителя **М.П. Драгоманова**, одно время редактировавшего в Женеве выпускавшийся там «*Святой дружиной*» под видом органа освободительного движения провокационный журнал «*Вольное слово*». Мы в 1964 г. опубликовали в сборнике в честь 75-летия **С.Н. Валка** копию письма Драгоманова к **С.Ю. Витте**, включенную **М.К. Лемке** в его рукопись о «*Дружине*», до сих пор остающуюся неизданной. Письмо свидетельствовало, что Драгоманов знал о происхождении своего журнала. Я имел неосторожность послать оттиск **Д.И. Заславскому**, автору трех вышедших в разное время книг о Драгоманове, репутация которого была тогда на Украине предметом общественной озабоченности. Он ответил нам возмущенным письмом, копию которого послал украинцам, напечатавшим коллективную статью «*Чія це фальшивка?*». А **А.Н. Цамутали**, секретарь партбюро **ЛОИИ**, получил письмо трудящегося, клеймившего позором «*выплодок убогого ума Ананьича та Ганеліна*».

Между тем в 1966 г. в «*Правде*» появилось письмо **Е.М. Жукова**, **В.Г. Трухановского** и **В.И. Шункова** о ненаучности определения «период культа личности». Смысл дела состоял в том, чтобы любыми средствами, в том числе с применением глубокомысленно-методологических якобы научных приемов, притупить остроту критики прошлого, открытой двадцатым съездом. Попытки затормозить, а то и прервать де-сталинизацию, в частности в историографической сфере, вызвали сопротивление некоторых наших коллег в московском институте. В феврале 1966 г. там состоялось памятное не только его участникам партийное собрание, на котором **А.Я. Аврех**, оказавшийся в центре внимания, сказал:

«Со всех сторон начали весьма усиленно **доказывать**, что **“период** культа личности Сталина” — определение неправильное, ненаучное, предлагают слово **“период”** выкинуть, оставив три остальные слова. Я тоже считаю, что выражение “период культа личности” неудачно и ненаучно... давайте вспомним историю создания этой формулы. Ведь вначале она состояла всего из двух слов: **“культ личности”**. Но главное здесь в том, что эти два слова были специально изобретены, специально придуманы, исходя из соображений **“политической** целесообразности”. Ведь это нарочито туманный, неопределенный и, я бы сказал, бессодержательный термин. Придуман он был для того, чтобы избежать настоящего, точного определения, которое дать было совсем нетрудно, но так казалось лучше, целесообразнее. По тем же соображениям целесообразности имя Сталина в формуле отсутствовало. Был **“культ личности”**, но неизвестно чьей. Затем логика вещей заставила прибавить слово “период”, ибо всем стало ясно, что невозможно употреблять эту формулу вне времени и пространства. Теперь предлагают произвести обратное действие: вместо арифметического сложения — вычитание. Этот процесс собираются осуществить в обратном порядке: сначала убрать слово “период”, затем, надо полагать, настанет очередь второго вычитаемого — слова “Сталин”, и мы, как говорится, вернемся на исходные рубежи».

После произнесения этой речи А.Я. Аврех прямо с собрания был отвезен в больницу — такими были напряжение его душевных сил и атмосфера собрания, на котором впервые прозвучало то, что широко произносилось в частных разговорах.

Я мало что знаю об этом собрании, заслуживающем специального внимания исследователей. Рассказывали и о других выступлениях, свидетельствовавших о том, что дух разгромленных за десять лет до того **панкратовско-бурджаловских «Вопросов истории»** уничтожить не удалось. Когда я выразил сомнение НА. Ерофееву, выступавшему с критической речью по поводу освещения истории внешней политики России, стоило ли ему это делать, он как старший по возрасту, научной и житейской опытности с редкой для его манеры поведения **определенностью** объяснил мне неуместность моих сомнений.

В 1967 г. разразился скандал вокруг книги А.М. Некрича «22 июня 1941г.». А у нас в ЛОИИ к 50-летию Октябрьской революции готовилось двухтомное издание «Октябрьское вооруженное восстание в *Петрограде*». Его участниками, авторами пространных и важных разделов были юристы по образованию Ю.С. Токарев и В.И. Старцев, прошедшие через ряд лет архивной службы, свободные от истфаковского заклинания «*Ленин и Сталин — вожди Октября*». Написанные **Старцевым** две главы, посвященные собственно дням Октябрьского восстания, вызвали у будущего главного редактора А.Л. Фраймана настороженное отношение. В.И. Старцев, очень этим встревоженный, перед предстоявшим их обсуждением пришел ко мне домой (я был автором глав о феврале «и марте»), и я позвонил Н.Е. Носову, который пришел на обсуждение, выступил на нем и главы Старцева остались нетронутыми, между тем они были важнейшими по значению и интересно выполненными.

Когда двухтомник **вышел**, мы с ним были командированы в Москву, где на заседании редколлегии журнала «*История СССР*» состоялось его обсуждение с приглашением ряда московских специалистов. Кроме выступления профессора Академии **общественных наук** И.Ф. Петрова, других остро критических выступлений против нас, пожалуй, не было. Но в выступлении редактора журнала Ю.А. Полякова звучали признаки назревавшего недовольства тем, что мы написали. Нас поддержали А.Я. Грунт, специально занимавшийся 1917-м годом в Москве (позже они вместе с В.И. Старцевым выпустили книгу о революционных событиях в Петрограде и в Москве), К.В. Гусев и П.В. Волобуев. Запомнились мне те тактические способы, которые применили Гусев и Волобуев. Гусев, автор ряда ценных исследований по истории эсеровской партии, роль которой особенно в феврале и марте 1917 г. считалась в традиционалистской литературе чуть ли не контрреволюционной, говоря о моих главах, **предъявил** мне в мягкой форме упрек в недооценке действий эсеровских организаций.

Много лет спустя я имел возможность публично напомнить об этом **К.В. Гусеву**. Оказалось, что он помнит этот

эффективный прием, с помощью которого он на партийном языке того времени пришел нам на выручку. А П.В. Волобуев стал по-житейски оправдывать колебания Каменева и Зиновьева перед восстанием. В старцевских главах не было непременно тогда полагавшегося гневного пафоса по поводу их предательства, выдачи ими сроков восстания врагу, как это тогда называлось (речь шла о Суханове, в квартире которого ЦК и заседал 10 октября, в 1970-х годах к этому стали добавлять, что его самого не было дома, а предоставившая квартиру его жена Г.Я. Флаксерман была большевичкой). Дело тогда не дошло еще до сомнений в том, что колеблющихся было только двое. Ленин был гением, с нарочитой рассудительностью говорил П.В. Волобуев. Ему было ясно то, что другим ясно быть не могло. И ничего худого в том, что Зиновьев и Каменев, испытывая чувство ответственности, хотели семь раз отмерить перед тем, как отрезать, не было.

Но в журнале *«Журналист»* появилась критическая статья против нас и ленинградского автора другой книги об Октябрьском восстании — Е.Ф. **Ерыкалова**, который, однако, выступил на заседании в ЛОИИ с критикой нашего двухтомника. Очень ярким и квалифицированным было выступление в нашу пользу В.С. Измозика, тогда учителя сельской школы, ныне одного из крупнейших исследователей советского периода истории России. У меня сложилось такое впечатление, что Н.Е. Носов и Д.И. **Петрикеев**, наш ученый секретарь, были на пороге того, чтобы принять его в ЛОИИ, но пятый пункт анкеты им в этом помешал. В целом эпопея с *«Октябрьскимвооруженным восстанием»*, хотя стоила многих волнений, серьезного ущерба ЛОИИ не нанесла. Говорили, что С.С. Хромов, ведавший в ЦК исторической наукой, скандала не допустил.

Мне казалось, что Ленинградский обком нас тоже старался не губить. Входявший в редколлегию *«Октябрьского восстания»* Е.Я. **Зазерский**, о котором я уже говорил, заведовал в то время Отделом пропаганды и агитации. Человек очень инициативный, он решил придать празднованию пятидесятилетия событий 1917 г. театрализованный и даже ис-

торико-документальный характер. Изображавшие красногвардейцев люди шествовали и ездили на старинных **ленфильмовских** грузовиках по городу. Все это не очень получалось и вызывало беспокойство. Но главной трудностью были восстановленные на юбилейный год афишные тумбы, которые ежемесячно оклеивались репродукциями листовок и плакатов 1917 г. Сначала круглые тумбы вызвали генетический рефлекс у собак, но милиции поручили их отгонять. А затем в обком потекли письма с сомнениями в большевистской принадлежности листовок, отделить которые от меньшевистских или эсеровских было, действительно, нелегко.

Против этого был создан идеологический заслон. Заместитель директора Музея Ленина В.Е. **Муштуков** и автор этих строк ежемесячно встречались у Е.Я. **Зазерского** над пасьянсом из листовок, происхождение которых иногда было неуловимо, и мы брали грех на душу. Для начальства это была жизненная школа, подрывавшая теоретическую нерушимость идейных принципов. Е.Я. **Зазерский** даже пересказал первому секретарю Обкома В.С. Толстикову мое мнение о том, что похороненные в марте 1917 г. на **Марсовом** поле неопознанными были скорее всего городовые, и вообще происхождение названия **Марсова** поля — **Площадь жертв** революции заслуживает внимания именно с этой стороны.

Думаю, что юбилейная практика нам помогла.

В 1968 г. в журнале *«История СССР»* появилась статья А.Я. Авреха о русском абсолютизме и одновременно в апреле того же года он выступил по этому поводу на советско-итальянской конференции в прениях по докладу Л.В. Черепнина. Тогдашние порядки допускали обсуждение с иностранцами только таких методологических вопросов, которые считались у нас решенными. Между тем смысл выступления А.Я. Авреха состоял в том, что относительная самостоятельность государства является всеобщим правилом, не знающим исключений и имеющим **огромное** значение, и обеспечивает наряду с интересами господствующих классов, к чему сводилась роль государства и его органов в утвердившихся к этому времени представлениях, общенацио-

нальные интересы, и это дает ему массовую социальную базу. Речь шла о крестьянстве. Он подчеркивал, что в России по сравнению со странами Европы мощь абсолютизма достигла крайних пределов. В признании этого фактора, разностороннего характера его влияния на все стороны жизни страны А.Я. Аврех усматривал достоинство, а не порок государственной школы в российской исторической науке.

На встрече с итальянцами он был поддержан Н.И. Павленко и П.В. Волобуевым, его многолетними друзьями и спутниками в регулярных пеших хождениях с шагомером, в которых, как говорили москвичи, и была выработана их идейная общность. П.В. Волобуев выразил сомнение в том, что первопричиной возникновения абсолютизма явилось обострение классовой борьбы крестьянства. Он отмечал прочность, силу, обширность сферы господства и длительность существования русского абсолютизма, видел в нем переходный тип между европейским абсолютизмом и азиатской деспотией. На особенности абсолютизма в России повлияли, по мнению П.В. Волобуева, и формирование централизованного государства в ходе борьбы против ордынского ига, внешние опасности, **многонациональность**, географические условия. Политическая централизация в России опережала экономическую консолидацию, говорил он, поддерживая Авреха, считавшего, что абсолютизм в России возник задолго до появления капитализма и стал одной из его **предпосылок**.⁵⁹

Со всей категоричностью выступила на конференции против этой точки зрения М.В. Нечкина. Она не видела в ней «мотивированного отношения к отрицанию классовой борьбы», «характеристики базисных оснований надстройки абсолютизма». Возражая Авреху, считавшему массовой социальной опорой царизма крестьянство, хотя он **отнюдь** не считал царизм выразителем крестьянских интересов, М.В. Нечкина говорила:

⁵⁹ Документы Советско-итальянской конференции историков 8—10 апреля 1968 г. М., 1970. С. 219—220, 195; *Щетинина Г.И.* Третья встреча советских и итальянских историков // История СССР. 1968. № 5. С. 245—248.

«Существует Карамзин, существует Погодин, имеются официальные документы — перелистайте их и обратите внимание, что они **утверждают** как раз то, что вы говорите, что царизм, конечно, идеология крестьянства: царь-батюшка является попечителем, страдателем за народ, ревнителем интересов народа. И существуют царские манифесты, которые начинались с призыва **“божьего благословения”** на царские дела для народа. Это именно и была официальная идеология. Пусть Вас потревожит это совпадение! Все-таки неприятная **близость**».⁶⁰

Строгость этого предупреждения соответствовала значению того прорыва за пределы канонической **схемы**, который был совершен. М.В. **Нечкина** имела в виду, кроме Авреха и Волобуева, еще и И.Ф. Гиндина. Но заодно с ними оказались и специалисты по истории Запада. Крупнейший знаток европейского абсолютизма А.Д. Люблинская, выступая на конференции, поддержала тех, кто «не связывает непосредственно и очень жестко» формирование абсолютизма в России с формированием капиталистического уклада.

«Мне кажется, — говорила она, — что Россия как раз представляет тот интересный случай, когда государственная власть как бы несколько забежала вперед экономики и подготовила такие важные организационные и административные мероприятия, которые дали возможность возникнуть новым, капиталистическим отношениям или, во всяком случае, сильно им **способствовали**».⁶¹

Незадолго до того точку зрения о возникновении абсолютной монархии при крайне слабом развитии буржуазных элементов высказал применительно к Западу А.Н. **Чистозвонов**.

В журнале *«История СССР»* и на заседаниях в последующие годы наиболее непримиримыми оппонентами А.Я. Авреха выступили в соавторстве А.М. Давидович и уже упоминавшийся С.А. Покровский. Они отстаивали традицион-

⁶⁰ Документы... С. 257.

⁶¹ Там же. С, 175.

ный взгляд на абсолютизм как на олицетворение диктатуры класса феодалов, дворян-крепостников, усматривали у Авреха и его соратников преувеличение особенностей российского исторического процесса, считая это методологически ошибочным. Авреха упрекали в общности взглядов уже не только с Карамзиным, но и с Н.М. Коркуновым, П.Б. Струве и др.⁶² Между тем другие участники дискуссии высказали важные соображения о громадных объективных возможностях, которые позволяли государству проявить независимость и самостоятельность по отношению к буржуазной верхушке,⁶³ и о роли в формировании абсолютизма внешнеполитического фактора.⁶⁴ А.Я. Аврех завершил дискуссию в журнале получившей значительный резонанс статьей «Утраченное "равновесие"». Смысл ее заглавия состоял в том, что, как еще раньше отметил на страницах журнала Н. И. Павленко, никто из участников дискуссии не отстаивал открыто тезиса о равновесии между дворянством и буржуазией как классовой основе абсолютизма.⁶⁵ «Невольно приходит на ум тезис "государственников" о том, что в России демиургом ее истории было государство, и мысль — не поддался ли этой теории А.Я. Аврех», — иронизировал он над собой, не усматривая в этом ничего для себя зазорного. Решительно настаивал он и на своем положении об абсолютной монархии как прототипе буржуазного государства. Николай II, писал он, получил прозвище «кровавого», но законности при нем было больше, чем при его предшественниках. «Главный смысл моего выступления по вопросу о

⁶² Давидович А.М., Покровский С.А. О классовой сущности и этапах развития русского абсолютизма // История СССР. 1969. № 1. С. 58—80.

⁶³ Боровой С.Я. Об экономических связях буржуазной верхушки и царизма в период империализма // Там же. 1970. № 2. С. 107.

⁶⁴ Сахаров А.Н. Исторические факторы образования русского абсолютизма // Там же. 1971. № 1. С. 125 и сл.

⁶⁵ Павленко Н.И. К вопросу о генезисе абсолютизма в России // Там же. 1970. № 4. С. 60.

русском абсолютизме сводится к неприятию вульгарного, упрощенного марксизма», — заявлял Аврех.⁶⁶

Осенью 1971 г. дискуссия об абсолютизме завершилась на ученом совете института во вполне академическом духе.⁶⁷ Л.В. Милов в заключительном слове сказал, в частности, что воздействие классовой борьбы на формирование абсолютистского государства носит лишь опосредованный характер. Вскоре, впрочем, Аврех вместе с Волобуевым и другими был подвергнут критической проработке вместе с так называемым «новым направлением». Об этом мне уже приходилось писать.⁶⁸ А здесь я с такой подробностью остановился на этой дискуссии как на одном из событий конца 60-х годов, чтобы показать, как превращение приватного обмена мнениями в публичную дискуссию, да еще на глазах иностранцев, стало сигналом тревоги для партийных органов. Их позиция заключалась в ограждении набора догм от каких бы то ни было прикосновений, подобно тому как в «пражской весне» увидели угрозу для всего социалистического лагеря. Тот марксизм, который историкам-шестидесятникам представлялся вульгарным и упрощенным, был на языке традиционалистов «твердым».

Разумеется, выпад против классовой базы государства был только дополнением к партсобранию 1966 г. и делу Некрича 1967 г. В 1968 г. Институт истории был разделен на Институт истории СССР и Институт всеобщей истории. Партком, секретарем которого был В.П. Данилов, имевший своими заместителями К.Н. Тарновского и А.М. Некрича, прекратил свое существование. Вряд ли Трапезников добился этого в одиночку. Скорее всего, общее усиление строгости было связано с приходом в 1967 г. на пост председателя КГБ Ю.В. Андропова, стремившегося в борьбе с ина-

⁶⁶ Аврех А.Я. Утраченное «равновесие» // Там же. 1971. № 4. С. 75.

⁶⁷ Рахматуллин М.А. К дискуссии об абсолютизме в России // Там же. 1972. № 4. С. 67—87.

⁶⁸ Ганелин Р.Ш. Творческий путь А.Я. Авреха // Там же. 1990. № 4. С. 102—110.

комыслящими к активности и изобретательности и не гнушавшегося тем, чтобы вместе с генералом Ф.Д. Бобковым выдать показания расстрелянного НКВД члена Временного правительства Н.В. Некрасова за его мемуары.⁶⁹

Московские дискуссии 1968 г. и раздел Института истории, пожалуй, не получили значительного отклика в ЛОИИ, ставшем Отделением Института истории СССР. Зато на истфаке ЛГУ произошло событие, означавшее применение традиционных приемов политического насилия, оказавшихся вовсе не безвозвратно ушедшими в прошлое. Наш товарищ и коллега Ю.Д. Марголис был обвинен, в сущности, в недоносительстве (он не признавал получение от кого-то книги Джиласа; теперь памяти Ю.Д. Марголиса посвящен сборник статей и материалов, в котором все это изложено). Изгнание его из университета должно было осуществиться голосованием с участием наших учителей и коллег. Дух времени позволил некоторым из них не явиться. Против голосовали В.П. Яковлев (в парткоме) и Е.М. Косачевская, сейчас же уволенная на пенсию.

При разделе московского института руководимый М.Я. Гефтером сектор методологии истории оказался в Институте всеобщей истории, а в следующем году и вовсе был закрыт. И вот именно в это время имела место короткая, но важная, с моей точки зрения, полемика. Она, в сущности, в полной мере объяснила смысл предупреждения М.Я. Гефтера против архивного фетишизма, которое он произнес в 1955 г. Эта не получившая сколько-нибудь значительной известности полемика (читатель увидит сейчас, что и ход ее в литературе с определенностью не установлен) явилась продолжением в 1969 г. того, что происходило в Институте истории в 1966–1968 гг.

Я позволю себе продолжить то отступление от канонического жанра воспоминаний, которое я начал раньше, и остановиться на вечном и в самом деле трудно разрешимом вопро-

⁶⁹ См. публикацию В.В. Поликарпова и В.В. Шелохаева: Вопросы ИСТОРИИ. 1998. № 11–12.

се — каково соотношение в сознании исследователя сведений источника и методологических взглядов и убеждений его собственных или по тем или иным причинам воспринятых им извне. Говоря «извне», я имею в виду отнюдь не только общеобязательные методологические установки, которые были присущи советской историографии, но и получающие ныне распространение теории исторического знания, рассматривающие исследование источника чуть ли не как помеху делу.

Нас предупреждают теперь против увлечения источником с применением философски усовершенствованного прежнего термина: речь идет об «архивном позитивизме», а не фетишизме, как некогда.⁷⁰ Автор этот начинает с сарказма по поводу того, что «метод гордо шествовал впереди». В этом трудно с ним не согласиться. С явным знанием дела он пишет: «На долю материала, был он связан с методом или нет, оставались служебные функции. Частный материал иллюстрировал универсальность метода. Когда авторы, увлекшись, занимались собственно материалом, теоретики считали себя вправе им выговаривать».⁷¹ Но затем А. Эткинд явно отходит от этой позиции, заявляя, что «историзм всегда искал равновесия между двумя **неприятными крайностями** в отношении к источнику, копированием и **фантазией**».⁷² Вряд ли исследование источника является этим равновесием. Автор и сам отнюдь не такое исследование имеет в виду, когда пишет: «Та работа, которой занимается историк, интересна ему и его читателям постольку, поскольку исторические сюжеты похожи на их собственную жизнь. Насилюя материал, однако, и втаскивая в него собственные проблемы, историк теряет доверие читателя. Точка равновесия между этими векторами сама меняется вместе с ходом **истории**».⁷³

А. Эткинд видит «цель работы не в комментариях к чужому тексту, а в написании своего текста, в сочинении собственного

⁷⁰ Эткинд А. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. № 47. 1 (2001). С. 40.

⁷¹ Там же. С. 8.

⁷² Там же. С. 22.

⁷³ Там же.

нарратива». Но «комментарий к чужому тексту» комментатор может ведь считать таким же «своим текстом», как и сочиненный им «собственный нарратив». Не в том ли причина позиции А. Эткинда, что он имеет в виду, с одной стороны, не историческое исследование, а историческую прозу, которую представляет себе «как сочинение историка, очищенное [!] от кавычек и ссылок», а с другой — комментарий не к историческому, а к художественному произведению, такой, который имеет по преимуществу справочное значение.

Выбор «между двумя неприятными крайностями» наш автор делает в пользу «фантазии» как связанной, в отличие от «копирования», с творческим началом. В конце концов он выражает надежду на то, что «архивный позитивизм», как и «избегание теории и старинное предпочтение чистой деидеологизированной работы», исчезнут с прекращением «финансирования “академических” институтов и таких же изданий». Его не смущает, что вместе с ними уйдут в прошлое и такие профессиональные навыки, которые, хотя и «делают исследователя замечательным публикатором и точным комментатором», не помогают ему стать «ярким автором, острым **критиком**, популярным **преподавателем**».⁷⁴ Для первых двух видов занятий теория «вовсе» не нужна, а для успехов в трех других нашему автору, по его словам, необходима. Как быть с методом, гордо шествующим впереди, и теоретиками, выговаривающими увлекшимся материалом исследователям? Слово «навыки» принадлежит А. Эткинду, они, по-видимому, представляются ему ремесленническими. Между тем они составляют неотъемлемую часть профессионализма. Впрочем, для нашего автора «профессионализм — явление по сути сходное с национализмом», поскольку «оба являются разновидностями культурного **протекционизма**».⁷⁵ Этот протекционизм он толкует, в частности, как «непреодолимый страх высокой культуры перед конкурентами». Думаю, однако, что это неприменимо ни к национализму, ни к профессионализму. Национальная культура, нуждающая-

⁷⁴ Там же. С. 40.

⁷⁵ Там же. С. 13.

ся в ограждении, вряд ли является высокой, например, германская в ее гитлеровской интерпретации. Что же касается профессионализма, то он от непрофессионалов незащитим, поскольку не может быть ими оценен. Свое отношение к работе историка над источником А. Эткинд выражает следующим образом: «Текст источника подлежит исторической критике, которая по мере своего движения устраняет текст. Если он плохо рассказывает о **событиях**, он не нужен; если хорошо рассказывает, он тоже нужен недолго, потому что можно переходить к **событиям**». ⁷⁶

Неудивительно, что доказательную силу таких рассуждений автор счел необходимым и возможным подкрепить ссылками на свое положение в научном мире.

«В 80-х годах, — сообщает он, — я работал в советской академии; 90-е годы провел в лучших университетах мира; сейчас преподаю в одном из лучших университетов России... Я вынужден напомнить, что у меня две ученые степени в тех областях, которыми занимаюсь: кандидатская по психологии и **Ph. D.** по славянской **филологии**». ⁷⁷

Не ссылаясь на всю литературу о значении источника, в частности на недавние работы В.М. Панеяха о петербургской исторической школе, обращаюсь к тому, что на протяжении недавних десятилетий писал по этому поводу Б.Г. Литвак, взгляды которого представляются мне имеющими особое значение. Он был у нас одним из пионеров изучения массовых источников, много сделавшим в этой отрасли, и одновременно в практической сфере — источниковедом-археографом самого широкого профиля, проработав много лет в редколлегиях «*Исторического архива*» и «*Археографического ежегодника*». Через его руки прошли бумаги самого различного происхождения — и содержимое сейфов, оставленных Ворошиловым в кабинете наркома обороны и стоявших там четверть века, и переписка К.С. Станислав-

⁷⁶ Там же. С. 12.

⁷⁷ Эткинд А. Два года спустя // Там же. С. 105.

ского и В.И. Немировича-Данченко, оказавшаяся причиной закрытия напечатавшего ее журнала, и многое другое. Обстоятельства его жизни сложились так, что его последнее десятилетие он провел в Канаде, имея все возможности сопоставлять черты профессионализма отечественных и зарубежных исследователей российской истории.

К его семидесятилетию прямое посвящение сборника статей ученому, не отмеченному какой-либо формой официального признания, еще считалось недопустимым, и А.Г. Тартаковский, сам яркий исследователь и интерпретатор источников, будучи ответственным редактором сборника статей *«Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода»* (М., 1990), указав во введении к нему, что сборник готовился в год 70-летия Б. Г. Литвака, кончил его поздравлением юбиляру и словами о том, что редколлегия «сочла уместным» открыть сборник «статьей, посвященной характерным чертам его научного облика».⁷⁸

Автор этой статьи, носившей название *«Борис Григорьевич Литвак (штрихи к портрету историка-источниковеда)»*, Ю.Я. Рыбаков, рано скончавшийся строгий и тонкий источниковед, отметил, что

«ставя вопрос о соотношении методологии и методики **исследования**, Б.Г. обращает внимание на известную автономию приемов источниковедческого анализа по отношению к методологической позиции **исследователя**, что позволяет шире использовать положительный опыт в работе с источниками предшествующих поколений **историков**».⁷⁹

Ю.Я. Рыбаков имел в виду статью Б.Г. Литвака *«О путях развития источниковедения массовых источников»* в сборнике *«Источниковедение. Теоретические и методические проблемы»* под редакцией С.О. Шмидта, подготовленном в 1969 г. воз-

⁷⁸ Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1990. С. 4.

⁷⁹ Там же. С. 9.

главлявшейся им группой теоретического источниковедения в секторе методологии, вскоре ликвидированном, которым заведовал М.Я. Гефтер. В 1972 г. в *«Вопросах истории»* появился посвященный этому сборнику обзор К.Г. Левыкина *«О некоторых проблемах источниковедения»*. Обзор носил критический характер. В первую очередь возражения вызвали статьи С.О. Шмидта и Б.Г. Литвака, утверждавших, что приемы источниковедения не должны зависеть от мировоззрения исследователя. Настаивая на «шаткости» аргументации Б.Г. Литвака, К.Г. Левыкин противопоставлял ей *«иной взгляд»* по этому вопросу *«других авторов сборника, например Л.В. Черепнина и А.Л. Зими́на»*, писавших о марксистском источниковедении.⁸⁰

М.А. Рахматуллин, писавший о Б.Г. Литваке в связи с его восьмидесятилетием (Ю.Я. Рыбакова уже не было в живых), определяя его особый взгляд на роль источниковедения в историческом исследовании, высказанный еще в бо-е годы, обратился к этой же его статье, сопоставив ее с тем утверждением во введении к сборнику, против которого Б.Г. Литвак, в сущности, и выступил. «Не очень вразумительно», по словам М.А. Рахматуллина, возражая против традиционного отнесения источниковедения к вспомогательным и, на худой конец, к узкоспециальным дисциплинам, автор введения (по словам С.О. Шмидта, им был М.Я. Гефтер) писал: «Методика неотделима от метода, а последний **включает** в себя весь процесс исторического **познания**, в том числе и теоретические аспекты его сторон и ступеней». Вопреки этому Литвак в своей статье, как писал М.А. Рахматуллин,

«пожалуй, впервые в советской печати высказал давно назревшую в **среде** историков мысль: "...в историческом познании, несмотря на безусловно классовый характер истории как науки, объективно существуют такие приемы изучения предмета, которые как бы равнодушны к классовой

⁸⁰ Левыкин К.Г. О некоторых проблемах источниковедения // Вопросы истории. 1972. № 1. С. 154.

позиции исследователя. Совокупность этих приемов является стержнем конкретного **источниковедения** <...> источниковедческий анализ<...> по своей природе сохраняет известную автономию по отношению к методологической позиции **исследователя**». «Понимавшая все с полуслова научная общественность, — писал далее **Рахматуллин**, — **была** возбуждена этим заявлением о независимости комплекса источниковедческих приемов от методологических пристрастий **исследователя**, ожидая вполне определенной реакции официоза. Но, как ни странно, все обошлось, “**вперед** смотрящие” предпочли как бы не заметить **случившегося**». ⁸¹

М.А. Рахматуллин видел причину этого в том, что Литвак опирался на труды не только выдающихся отечественных источниковедов — А.А. Шахматова, А.С. Лаппо-Данилевского и др., но и В.И. Ленина, писавшего, что ни один из приемов научной статистики сам по себе не буржуазен, давая этим ключ к освященному его именем пониманию соотношения методики и методологии.

Впрочем, сам М.А. Рахматуллин, как и Ю.Я. Рыбаков, по понятной причине предпочел не заметить статью К.Г. Левыкина. Б.Г. Литвак между тем писал, что «за эту “еретическую мысль”» он все же «получил “по шапке”» от «сторонников идеи неразрывной связи методологии и установления исторических **фактов**, <...> блюстителей чистоты **марксистско-ленинской методологии**». ⁸² Самое удивительное (а, может быть, удивление и неуместно) в том, что о своих высказываниях 1969 г. ему пришлось напомнить в 1994 г. Врусской эмигрантской печати в США, в которой под влиянием отнюдь не марксистской методологии, а релятивистских и агностических теорий, а также критики позитивизма в американской историографии настойчиво утверждалась мысль: «Написать единственную историю, как она была на самом деле, — нельзя».

⁸¹ *Рахматуллин М.А.* К 80-летию Бориса Григорьевича Литвака // Отечественная история. 1999. № 2. С. 206.

⁸² *Литвак Б.Г.* Американо-канадский дневник. М., 1998. С. 102—103.

«Если согласиться с ней, — возражал Б.Г. Литвак в газете *«Новое русское слово»*, — то человечество лишается своего объективно существовавшего исторического прошлого и будет вынуждено питаться только мифологией. К счастью, это далеко не так. Прежде всего заметим, что господство позитивизма в науке XIX века сыграло положительную роль в ее развитии: естественные науки до совершенства развили методику эксперимента и аналитического наблюдения, а в истории родились и приобрели уровень научности источниковедческие дисциплины — архивоведение, археография, дипломатика, генеалогия, нумизматика и сфрагистика, хронология и метрология и еще добрый десяток других. Отличительное качество этих дисциплин — их независимость от концептуальных исторических построений или от **методологии**».⁸³

То обстоятельство, что приведенные выше слова введения к сборнику 1969 г. о неотделимости методики от метода, вызвавшие возражение Б.Г. Литвака, принадлежали М.Я. Гефтеру (я и до сообщения С.О. Шмидта так считал), меня задним числом огорчило, тем более что это было напечатано в год закрытия руководившегося им сектора.

Но еще большим ударом было для меня то обстоятельство, что после московских событий октября 1993 г. Б.Г. Литвак стал не менее яростным противником Ельцина, чем М.Я. Гефтер. Между тем такие рекомендуемые Б.Г. Литваком приемы изучения предмета, которые, по его определению, «как бы равнодушны к классовой позиции исследователя», вряд ли дают возможность считать, например, что призыв генерала Макашова к своим вооруженным сторонникам штурмовать административные здания был продиктован заботой о сохранении конституционного порядка. Только при полном подчинении исследовательской методики требованиям предельно политизированной методологии можно усмотреть эту заботу в сохранных аудио-видеозаписью выкриках генерала: *«Ни мэра, ни пэра, ни х..ра!»*, которыми он сопровождал свой призыв к штурму.

⁸³ Там же.

Я должен здесь сказать, что дань традиционализму в той или иной форме характерна для многих из тех, кому мы обязаны рывком вперед в 1960-е—1970-е годы. К сказанному уже о Сидорове и **Гефтере** следует добавить (теперь об этом много напечатано), что Аврех после всего им и другими пережитого, полемизируя с В.С. **Дякиным** о сущности столыпинского режима, упрекал своего оппонента в совпадении его мнения с точкой зрения А.И. Гучкова. Этот аргумент представлялся ему неотразимым. Дань традиционализму отдавал и П.В. Волобуев, он был в конце жизни деятелем КПРФ. Но к **К.Н. Тарновскому**, кстати, занимавшемуся и историко-партийной тематикой, А.М. **Анфимову**, К.Ф. **Шацилло**, избегавшему участия в дискуссиях с В.И. **Бовыкиным**, его научным руководителем, М.С. Симоновой и В.А. **Емцу** это не относилось.

Когда во главе Института истории СССР, созданного в 1968 г. в результате раздела Института истории АН СССР, был поставлен акад. Б.А. Рыбаков, с давних пор директор Института археологии, не оставивший этого поста, положение его заместителя (не помню, назывался ли он первым заместителем, но фактически таким был) стало влиятельным и при новом директоре, и в отношении перспективы стать его преемником. Заместителем этим стал П.В. Волобуев, тогда еще бывший в ЦК на хорошем счету, отчасти, вероятно, как невинно, с партийной-аппаратной точки зрения, пострадавший от А.М. Панкратовой. Но тогда же пошли разговоры о том, что на пост заместителя Рыбакова претендовал В.И. **Бовыкин**, ставший заместителем Волобуева, когда тот сменил Рыбакова на директорском посту.

У меня нет достаточных оснований, чтобы связывать начало кампании против «нового направления» с этой службистской историей. Думаю, что дело было в двух сессиях (в Одессе и в **Свердловске**), на которых были продемонстрированы несколько противоположные традиционным подходы к истории экономики и рабочего движения в России начала XX в. П.В. Волобуев играл во всем этом ведущую роль и как исследователь, и как администратор. А.М. **Некрич** в своей книге об Институте истории «*Отрешишь от страха*» дал ему

яркую характеристику, смысл которой я воспроизвожу по памяти. У Волобуева, по мнению **Некрича**, были черты партийного человека и идеолога. Но главным его свойством был подлинный профессионализм (я добавил бы к этому — дар исследователя). А это, считал Некрич, как раз тем и было, чего партийные идеологи простить не могли, поэтому Волобуев был обречен на поражение.

Об этом довольно много уже написано, да я и не был близким свидетелем этих событий, происходивших в основном в Москве, где сопротивление натиску из ЦК оказывали, в частности, занимавшие низовые партийные посты в институте М.С. Симонова и В.А. Емец. Поэтому я расскажу о ленинградском отражении этих событий. Что же касается общего существа дела — ограничусь несколькими замечаниями и рассказом о двух лицах, имевших отношение к делу с разных сторон. Первый из них — Леонид Михайлович Иванов, заведовавший сектором истории СССР периода капитализма, умный и ироничный человек, сочетавший это с разносторонней марксистской подготовкой и поощрявший поиски научных подходов к новой истории России. Он был уже тяжело болен и в больнице, куда я к нему пришел, сообщил мне свои замечания по «*Краткой истории СССР*», в редколлегию которой он входил. Помню, в частности, что признаком кулачества в российской деревне он считал ростовщичество. Ряд статей посвятил он проблеме патриархального попечительства в российской жизни, специфической системе отношений между фабрикантом и рабочими, классовая борьба оказывалась при этом не то чтобы неуместной, а вовсе не определяющей все на **свете**.⁸⁴

⁸⁴ В связи с 800-летием Москвы С.В. Бахрушин, выходец из московской предпринимательской семьи, писал в укор своей среде о рабочих «трущобах с узкими грязными улицами, мрачными бараками без света, воды и канализации». Его старинный знакомый П.А. Бурыйкин через несколько лет возразил ему из-за границы: «Много было уже сделано для улучшения жилищного вопроса для рабочих. Да и у самих Бахрушиных дело это обстояло совсем не так плохо» (Бурыйкин П.А. Москва купеческая. М., 1990. С. 49–50).

А на другой стороне был Сергей Митрофанович Дубровский, старый марксист 20-х — 30-х годов, одно время работавший в ГАИМК в Ленинграде. Он и его жена Б.Б. Граве, одна из ранних исследовательниц внутриполитической истории России в Первой мировой войне, были людьми идейными. Б.А. Романов, стоявший с ней в очереди за зарплатой, рассказывал, что однажды, когда исчезла одна обычно приходившая вместе с ними дама, Б.Б. Граве воскликнула: «Кто мог *подумать*, что она враг народа?» На следующий раз в очереди не оказалось Б.Б. Граве, арестованной, как и ее муж, и женский голос произнес те же слова о ней самой.

С.М. Дубровский после реабилитации вернулся борцом за старый марксизм, против попыток что-либо менять. Кстати, он написал очень яркую статью в «*Вопросах истории*» против нового, сталинского, образа Ивана Грозного. Но победа капитализма в деревне была, с его точки зрения, безраздельной, а Временное правительство по классовой своей природе — неспособным ни на какие преобразования и т. п. «*Хорошая у нас молодежь*», — говорил он на одной из конференций, одновременно требуя в ЦК усилить на нее влияние.

Современные исследователи часто проявляют отсутствие или недостаток чувства историзма, обращаясь к жизни, творчеству и образу поведения своих советских предшественников. Например, любое обращение в ЦК представляется им, как некоторые из них мне откровенно говорили, доносом, недопустимым для лица, борющегося за историческую правду. Обращаться туда пристало только тем, кто добивался торжества партийной ортодоксальности. Такого же рода отношение существует сейчас к ссылкам на Ленина, представляющимся, помимо прочего, дурным тоном. Между тем это были такие же черты времени, как, скажем, употребление французского языка в качестве дипломатического в XIX в. Факт обращения именно в ЦК уменьшал возможности власти покарать за его содержание. Напомню, что в старой России до 18 февраля 1905 г. верноподданнические прошения, если они относились к делам общегосударственного значения, были запрещены по закону, а у нас ведь нет! Да и показывать коллегам то, что отослано в ЦК, если и воз-

бранялось, то не очень строго. Кроме того, тогдашняя политическая действительность была сложнее, чем нынешние о ней представления, и то или иное письмо в ЦК могло быть заказано кем-то изнутри этой сложнейшей структуры, внутри которой всегда существовали различные течения.

Что касается сочинений Ленина, то он меньше всего, когда писал их, рассчитывал на выход в свет их собрания, в котором оказались поэтому если не взаимоисключающие, то противоречащие друг другу утверждения, основанные на его собственных, часто пристрастных наблюдениях разного времени и увлеченном обращении к появлявшемуся в печати. Я хочу этим сказать, что использование ленинского, выражаясь современным языком, понятийного аппарата и, разумеется, его оценок давало широкие возможности для дискуссий по различным вопросам дореволюционной действительности. Без этого таких возможностей не существовало.

Проведенная еще в директорство А.Л. Сидорова дискуссия о военно-феодальном империализме задевала теорию формаций. Деление «национальных империализмов» на отраслевые — ростовщический, военно-феодальный, колониальный — как-то не совмещалось с универсальностью закона о непременном переходе от империализма — как высшей стадии капитализма — к социализму.

Детерминированность этого перехода (теория формаций была сооружена в 1930-е годы), хоть она и не во всем совпадала с положением о боевом революционном переходе к социализму, была обязательна. Сидоровская школа изучала экономическую сторону дела. По этому поводу следовало констатировать подчинение правительственных органов монополиям или, по крайней мере, сращивание государства и монополий. Получалось же, что монополиям приходилось иногда подчиняться государству, которое вообще играло в хозяйственной жизни немаловажную роль, в том числе и регулирующую.⁸⁵

⁸⁵ Замечу, что у моих дядей, служивших до революции, один — в частной фирме, второй — в частном банке, а после революции

Усиленный поиск форм капиталистических монополий в промышленности и банковском деле (статья И.Ф. Гиндина о зеркальном синдикате вызвала шутку А.Я. Авреха о синдикате шило-мыло-гвоздь), причем искали формы наиболее развитые, привел и к установлению множества низших капиталистических, а то и докапиталистических форм хозяйственной жизни, особенно в деревне. Именно это встретило ожесточенное сопротивление со стороны ортодоксов.

Наши московские коллеги, чтобы выйти из положения, решили воспользоваться ленинским термином **«многоукладность»**. К.Н. Тарновский, впрочем, шутил, что рассчитывали они больше не на **многоукладность**, а на **многоподъездность**. Объяснял он это тем, что Отдел науки ЦК во главе с С.П. Трапезниковым, охранявший **формационный** принцип (Трапезников прямо заявил об этом в **«Коммунисте»**), и Международный отдел, который вряд ли мог настаивать перед американскими или английскими коммунистами на неизбежности для них социализма, помещались в разных подъездах. **«Международники»** иногда действительно поддерживали **«новопрочтенцев»**, но, по рассказу К.Н. Тар-

ставших чиновниками по экономической части, были своеобразные представления о переходе от капитализма к социализму. Первый из них, Л.И. Ганелин, рассказывал, что начал службу в лесоторговой фирме **«Вдова Магазаник и сыновья»**, причем никто из служащих ни разу не видел не только самого **Магазаника**, но и его вдовы или сыновей. Затем, говорил он, нашу фирму приобрел купец **1-й гильдии** Либерман, а после революции из нее был образован **Наркомлес**. В этом ведомстве, а затем в Совете министров он прослужил до глубокой старости. Второй, В.А. Ганелин, называл отраслевую ориентированность дореволюционных банков **«прикреплением»** их к тем или иным отраслям хозяйства и считал, что не худо бы такую систему иметь и при советской власти. Государственный и другие существовавшие у нас советские банки он, занимаясь в Минсельхозе СССР финансированием научных учреждений, считал, по-видимому, недостаточно эффективными.

новского, так бывало не всегда. Мало того. Формационный принцип как причина революции не был, разумеется, принят во внимание и А.И. Солженицыным в *«Августе 1914-20»*. Этот принцип имел в виду и ведавший в КГБ борьбой с диссидентством ген. Ф.Д. Бобков, говоря, что ему и самому обрыдл марксизм. Когда же, по указанию руководства КГБ, решившего одолеть Солженицына приемами патриотизации, доведенными до крайности, Н.Н. Яковлев в своей книге *«1 августа 1914 г.»*, говоря о причинах Февральской революции, обратился к масонской теме и в *«Вопросах истории КПСС»* должна была появиться статья В.И. Бовыкина и В.М. Шевырина с критикой этого, то в запрещении этой статьи участвовал не только Андропов, но и, как недавно рассказал мне В.М. Шевырин, Международный отдел ЦК.

В 1970 г. после Конгресса экономической истории в Ленинграде мы все поехали в Москву на Всемирный конгресс исторических наук. Оба конгресса запомнились мне чертами фундаментализма в их организации. В Ленинграде в Таврическом дворце друг за другом проходили конгрессы анатомов и гистологов (если не ошибаюсь), исследователей космоса и экономических историков при одном и том же ученом секретаре. В Москве первым, кого мы увидели в МГУ, где проходил конгресс, был наш ленинградский сопровождающий. Каждый делегат внес по 3 руб. аванса за отведенное место в гостинице *«Россия»*. А мы с Б.В. Аналичем, несмотря на это, отправились ночевать к знакомым. Н.Е. Носову, нашему директору, пришлось выслушать горестные сетования по поводу проявленного нами не столько расточительства, сколько вероломства. А в Ленинграде, где обязанности заведующего ЛОИИ исполнял В.С. Дякин, появился москвич, пытавшийся заставить его высказаться против книги Некрича. Но огорчения и разочарования, постигшие здесь москвича, были не меньшими, чем в Москве сопровождавшего нас ленинградца.

Для ЛОИИ спасательным плотом в буре, поднятой Отделом науки, служила Государственная премия, полученная в

1972 г. за двухтомную *«Историю рабочих Ленинграда»*. Однако в начале 1975 г. новый директор Института истории СССР акад. А.Л. Нарочницкий, который ввел, кроме общегосударственной, собственную цензуру, требуя представления ему в корректуре указанных им работ и потом разрешая или запрещая издательству их выпуск в свет, прислал в Ленинград комиссию во главе с Ю.А. Поляковым. Н.Е. Носов, заведовавший ЛОИИ, был болен. Думаю, что Нарочницкий из этого и исходил. Советский сектор должен был обследовать Г.А. Трукан, а нашу группу истории СССР периода капитализма — В.И. Бовыкин. Ею заведовал после В.С. Дякина я. Среди приехавших были еще две дамы. Фамилий их я не запомнил, не уверен, входили ли они официально в состав комиссии, но дело, которым они занялись, было серьезным. Они просматривали протоколы заседаний в поисках неосторожно сказанного или неточно записанного. Поскольку речь шла о записях чисто производственных разговоров (протоколы предназначались, разумеется, не для печати, а для архива), у них получился некоторый улов. Например, в обвинительную часть акта комиссии попала фраза из протокола о том, что после Февраля 1917 г. много офицеров стало кадетами, а солдат — эсерами.

Поляков и Трукан, насколько я знаю, вели себя спокойно. Поначалу так же держался в разговорах со мной и Бовыкин, с которым у нас были до того дружеские отношения. Вдруг он попросил у меня записку об ошибках методологического характера, содержащихся в первом томе *«Истории рабочих Ленинграда»*, относившемся к досоветскому периоду. Моя записка такого рода была бы для преследователей «новопрочтенцев» довольно серьезной добычей: я был фигурой хотя и маловлиятельной, но очень уж подходящей в качестве разоблачителя — заведующим группой, в которой работа готовилась, но не входившим в число ее авторов. *«Историки партии, которые лучше всех знают марксизм, объяснили нам, что принцип гегемонии пролетариата нельзя трогать»*, — что-то в таком роде говорил мне В.И. Бовыкин («новопрочтенцы», в частности П.В. Волобуев, обвинялись

в том, что, опираясь на Ленина, находили такие времена в истории революционной борьбы, когда эта гегемония была утрачена). А я перевел разговор с теоретических небес на грешную землю, воззвав к его совести. *«Ты уедешь с моей бумажкой в Москву, а я останусь в Ленинграде, где отделом науки в Обкоме заведует Миронченкова, вину которой в теоретических ошибках я удостоверяю»*, — заявил я с горьким пафосом (З.С. Миронченкова **входила** в состав редколлегии и на самом деле активно участвовала в ее работе).

«За мной стоит Суслов», — заявил обозленный **Бовыкин**. *«А за мной — Романов»*, — обнаглел, взял я грех на душу, имея в виду заинтересованность ленинградского руководства во главе с Г.В. Романовым в госпремии. При следующей нашей встрече он, делая мне уступку, попросил, чтобы в моей бумаге устранение или отсутствие в томе ошибок было объяснено учетом партийной критики. Имелась в виду статья П.А. Голуба, В.Я. Лаверычева и П.Н. Соболева *«О книге “Российский пролетариат, облик, борьба, гегемония”»* в *«Вопросах истории КПСС»* (1972, № 9).

Поскольку у меня было такое ощущение, что моим собеседником руководят из Москвы и он не совсем свободен в своих действиях, я позвонил В.С. Дякину, ответственному редактору всего издания, который укрепил меня в решении отказать и в этом. К счастью, положив рядом том и журнал со статьей, я обнаружил, что том *«Истории рабочих Ленинграда»* был сдан в набор 4 апреля 1972 г. и подписан к печати 5 октября того же года. А номер журнала с «правильной» статьей сдан в набор 2-4 августа и подписан к печати 6 сентября все того же 1972 г.

Таким образом, учесть партийную критику наши авторы не могли. Когда я сообщил об этом **Бовыкину**, он ничего мне не ответил. Но через некоторое время на советско-германском симпозиуме ко мне подошел **Ю.А. Поляков** и предложил ознакомиться с тем разделом акта комиссии, который был посвящен нашей группе и написан **Бовыкиным**. В работе группы был обнаружен монархический уклон на том основании, что тематика ее была посвящена по пре-

имуществу внутренней политике правительства и в плане стояли такие названия, как *«Царизм и рабочий вопрос»*, *«Правительственная политика в области хлебных цен»*, *«Самодержавие и европейская биржа»* и т.д. Ю.А. Поляков предложил мне заменить этот раздел акта другим, что я и сделал, в большом волнении сочинив свой вариант в течение того заседания, в начале которого он ко мне обратился. Потом все стихло. А через несколько лет в старых бумагах в ЛОИИ я увидел акт в его окончательной форме и расценил документ как позднее подтверждение того, что наступление на ЛОИИ в 1975 г. захлебнулось. Мое сочинение, перепечатанное на другой машинке, нежели весь акт, было в него включено вместо варианта **Бовыкина**. Однако главное было в том, что в комиссию входили или во всяком случае должны были войти, хотя нам это не было сообщено, секретарь парткома московского института В.И. **Неупокоев** и сотрудница Сектора феодализма Е.И. **Индова**. Их фамилии были напечатаны среди прочих таким образом, чтобы они подписали акт, но они не только не сделали этого, но и не приехали в Ленинград.

Еще раз хочу засвидетельствовать, что, кроме сказанного, других «методологических» атак против ЛОИИ и его сотрудников в тот момент не велось. Пишу об этом потому, что в статьях, посвященных памяти нашего высокоодаренного коллеги тех лет (позже он занял кафедру в Пединституте) В.И. Старцева, можно прочесть о политических препятствиях, которые ему пришлось преодолеть на пути к изданию его книги *«Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг.»*, и ° том, что он~~а~~ было задержано на три года. Как участник связанных с этим событий (в соответствии с ее темой рукопись представлялась Ученому совету нашей группой, тем более что стать ее ответственным редактором согласился В.С. **Дякин**) должен это опровергнуть. Она была утверждена к печати Ученым советом в 1975 г., затем в соответствии с обычной тогдашней процедурой включена Редакционно-издательским советом АН СССР в план редакционной подготовки 1976 г. и план выпуска 1977 г. Этот принятый в те годы темп прохождения рукописи удалось

обеспечить, несмотря на возникшие в начале 1975 г. осложнения. Они отнюдь не носили политического характера и никак не были связаны с деятельностью администрации — ни московской, ни ленинградской. В.С. Дякин отказался от того, чтобы быть редактором работы, найдя в ней недостатки академического свойства, отнюдь не связанные с методологией. Позволить себе отказ по политическим соображениям он, по своим принципам, разумеется, не мог, тем более что где-то рядом была московская комиссия.

Необходимость изложить дело в качестве участника заставляет меня остановиться на нем несколько подробнее. В.И. Старцев и В.С. Дякин вместе и порознь склонны были атаковать концепцию 1917 года, принадлежавшую И.И. Минцу и господствовавшую в то время. Не хочу возлагать ответственность на них обоих за то, что вместе с некоторыми коллегами из ЛОИИ я подписал присланное из Москвы письмо с призывом не присуждать за первый том минцевской *«Истории Великого октября»*, вышедший в 1967 г. одновременно с нашим двухтомником *«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде»*, Государственной премии. В книге Минца многое, конечно, подлежало пересмотру (как, впрочем, с сегодняшней точки зрения, и в нашем двухтомнике). Должен признаться, что я действовал под влиянием директорской позиции Волобуева, а не Старцева и Дякина. Они разошлись, когда поданная Старцевым рукопись монографии была поставлена Дякиным под сомнение с точки зрения ее исследовательских достоинств. Узнав об отказе В.С. Дякина от ее редактирования, Д.И. Петрикеев, заменявший больного Н.Е. Носова, вызвал меня, В.И. Старцева (не помню, был ли кто-нибудь еще), и мы договорились, что на Ученом совете, чтобы не упустить сроков, работу представляю я как заведующий группой. Позже редактором был утвержден У.А. Шустер. Что касается вышедшей в 1977 г. коллективной монографии *«Революционный Петроград. Год 1917»*, то теперь можно прочитать, что В.И. Старцев не стал членом ее редколлегии как «опальный». На самом же деле из живых (к 1977 г.) членов редколлегии *«Октябрьского вооруженного*

восстания» никто, кроме Н.Е. Носова, возглавившего работу над новым изданием, в редколлегия «Революционного *Петрограда*» не вошел. В числе не вошедших были Е.Я. Зазерский и автор этих строк. Других неточностей, появившихся в литературе, связанных с работой В.И. Старцева в ВЛОИИ, касаться не буду. Отмечу лишь, что он никак не мог получить выговор от А.Л. Сидорова, переставшего быть директором еще в 1959 г.

Возвращаясь к нашим отношениям с А.Л. Нарочницким как директором, следует отметить, что после посылки комиссии, оказавшейся для него, как мне представляется, неудачей, он свел дело к упоминавшемуся цензурированию корректур, среди которых под ударом длительное время была работа О.А. Знаменского о Всероссийском учредительном собрании, и к попытке использовать нашу группу для критических выступлений против, в сущности, уже разгромленных «новопрочтенцев». Вероятно, в 1976 г. из Москвы последовало официальное распоряжение о командировании для участия в заседании Ученого совета Б.В. Ананьича, Ю.Б. Соловьева, В.Г. Чернухи и меня. Мы оказались на многочасном проработочном собрании с участием академиков, инструктора ЦК Куликова и др., проводившемся на основании заранее заказанных Нарочницким «экспертных заключений». Ясно было, что мы вызваны отнюдь не как слушатели. Действительно, в перерыве меня привели к Нарочницкому, который в не допускающей возражений форме заявил, что ждет от нас выступления.

Понуро стояли мы вчетвером, глядя друг на друга. И вдруг Юрий Борисович Соловьев произнес: «*Ладно, я пойду*». Здесь надо сказать об этом нашем товарище, что он обладал, помимо исследовательского, и литературно-публицистическим даром. Иногда при этом темой его выступлений были судьбы России, к которым у него действительно было глубоко прочувствованное отношение. Когда он стал говорить, аудитория, пресыщенная и, вероятно, раздраженная суетно-проработочными речами, стала с интересом прислушиваться к тому, что было отмечено настоящей духовностью. Ни слова не сказав о чужих ошибках и так построив свою речь,

что неуместно было бы не только говорить о них, но и упрекнуть его в том, что он этого не делает, Юра нас спас. Устроители повертелись на своих местах, но промолчали.

Когда все кончилось, Н.М. **Пирумова** пригласила к себе домой нашу четверку, Волобуева, **Авреха** и В. Тимошенко, которая отличилась на конференции в Ленинграде еще в 1959 г., когда продолжали обсуждать вопрос об эксплуатации России иностранным капиталом. Один из минских профессоров назвал в своем выступлении злейшим врагом белорусского народа иностранного капиталиста по фамилии **Макдональд**. В. Тимошенко, тогда еще аспирантка, взяв слово, сказала, что это была женщина по имени **Аграфена**, вдова волжского первой гильдии купца. А откуда у нее появилась фамилия Макдональд, установить не удалось.

Пока дамы хлопотали на кухне, Юра спал на хозяйской кровати — такого нервного напряжения стоила ему его речь историка перед историками.

Если в отношении борьбы с «новопрочтенцами» была позднее не без сарказма употреблена формула *«последняя дискуссия советских историков»* (в одном из актов ее мы вчетвером участвовали), то некоторые мои коллеги в шутку считали, что последний донос в ЦК на темы истории посвящен именно мне. Думаю, что это совсем не так или, по крайней мере, не совсем так. Вероятно, эпизоды такого рода должны быть известны современному поколению историков, а может быть, и не только историков. Я сохранил у себя все относящиеся к этому делу документы. Но почему-то не хочется их воспроизводить с комментариями, воссоздавая старый спектакль со всеми его участниками, некоторым из которых зрительские или читательские впечатления о довольно далеком прошлом теперь ни к чему. Поэтому я ограничусь кратким изложением дела, обращая внимание на то, что никто из оказавшихся не по своей воле причастными к нему официальных лиц не желал его раздувания. В 1976 г. корректура моей книжки о ранних советско-американских отношениях была затребована А.Л. Нарочницким и отдана на отзыв **А.В. Игнатьеву**, известному историку внешней

политики России, и ученику Нарочницкого Г.К. Селезнев, автору вышедшей в 1954 г. книги *«Тень доллара над Россией»*, которая была подвергнута в послебурджаловских *«Вопросах истории»* резкой критике за недостаточность его антиамериканской позиции. Ему удалось тогда с помощью ЦК от этих обвинений отбиться. Г.К. Селезнев был сыном К.Л. Селезнева, сотрудника редакции *«Вопросов истории»* при Панкратовой и **Бурджалове** (не знаю, когда он покинул редакцию), до того сотрудника спецслужб. Настоящая фамилия К.Л. Селезнева была, как мне говорили, иной.

Как раз тогда, когда взяли для так называемого контрольного рецензирования корректуру моей книжки, я был занят составлением отзыва о рукописи коллективного труда по истории внешней политики России, подготовлявшегося под редакцией Нарочницкого. В своем отзыве я, в частности, отметил необходимость подчеркнуть пристрастность рецензии на книгу Селезнева. Что же касается корректуры моей книжки, на которую А.В. Игнатьев дал строго академический отзыв, подчеркнув необходимость ее выпуска в свет, то Г.К. Селезнев обратил против меня такие же обвинения, как те, которые были ему предъявлены за 20 лет до того. В моем изложении оказывалось, что США не участвовали в планах раздела России. Отзывы были присланы в Ленинград для того, чтобы я учел их и доложил о сделанном в дирекцию. Я внес в корректуру небольшую правку, согласовав ее с издательским редактором Е.Г. Дагиным, человеком с большим жизненным и политическим опытом, и корректура была снова отправлена в Москву. На мое счастье, **Нарочницкий** был в отпуске, а оба его заместителя, В.И. Буганов и В.П. Шерстобитов, независимо друг от друга прислали каждый по официальному письму в издательство о согласии на выпуск книжки в свет. Когда же это состоялось, Г. К. Селезнев обратился с обвинительным письмом против меня в ЦК, кажется, на имя М.А. Суслова. Был 1977 год, и что-то на небесах поворачивалось. Я был вызван в Москву, принят Нарочницким. Он заявил мне, что интрига против меня исходит из кругов противников советско-американ-

ского сотрудничества, вызвал заведующую секретной частью, и из сейфа были извлечены бумаги по моему делу. Оказалось, что по письму Селезнева было предпринято еще одно рецензирование моего уже изданного сочинения различными лицами, отзывы которых были мне предъявлены. Умным и деловым был отзыв А.Е. Куниной (Большаковой). Письмо Селезнева было передано из ЦК в редакцию журнала *«Новая и новейшая история»* на предмет определения, может ли оно быть напечатано в виде рецензии. Я получил приглашение прийти туда и был даже несколько удивлен проявлениями, я бы сказал, брезгливого к письму отношения. Возможно, что дело было не только в его жанре и содержании, но и в том, что, как мне рассказали, его автор, читавший в МГУ курс *«Основы научного коммунизма»*, рассказал на лекции об этом деле как о полученном им важном поручении высокой инстанции. Е.И. Тряпицын, заместитель главного редактора, занимающий этот пост по сей день, сразу же сказал мне, до этого совершенно не знакомому ему человеку, что они решили рецензию не печатать и в крайнем случае обратиться за помощью к дочери А.Н. Косыгина Л.А. Гвишиани, автору книги на сходную с моей тему. В редакции был проявлен не политический, а чисто профессиональный подход к делу. В.Д. Воскресенский, до сих пор работающий в журнале, вместе с еще одним или двумя англоязычными сотрудниками сел за рассмотрение приведенных мною фотокопий документов, которым предъявленные мне обвинения явно противоречили. Решение не печатать рецензию было подтверждено.

Столкнулся я при этом и с ростками того, что в следующем десятилетии, в 80-е годы, стало называться новым мышлением. *«Ну и что, пусть бы напечатали, — говорили мне некоторые москвичи, — ничего бы не изменилось»*. Ослабление начальной строгости меняло человеческий взгляд на окружающий мир. Впрочем, в моем случае дело было еще и в убедительном разговоре А.А. Фурсенко с заведовавшим тогда историей в Отделе науки С.С. Хромовым, который уважительно относился ко мне и позднее, став директором Института.

Между тем, что говорилось в кулуарах, и элементами официальной доктрины умножались связующие нити. Брежневские закрытые письма, которые на партийных собраниях, если я не ошибаюсь, только читались, но не обсуждались, тем не менее способствовали этому. Хотя старое отступало медленно, поведение людей менялось. В 1983 г. отмечалось 80-летие II съезда РСДРП. Мы все должны были отправиться в Таврический дворец на совместное заседание с Высшей партийной школой. Не могу говорить о ней в целом, но одна из ее кафедр — кафедра международного рабочего и коммунистического движения — была известна широким подходом к своему предмету, довольно свободным, разумеется, в известных пределах, обсуждением таких вещей, часть которых в печати даже не упоминалась. В заседаниях кафедры участвовали и сотрудники других учреждений. Много лет ею заведовал Д.П. Прицкер,⁸⁶ затем В.В. Чубинский-Надеждин, там преподавали Ю.М. Черне-

⁸⁶ К тому, что сказано в посвященном ему очерке Е.Г. Эткинда в книге *«Записки незаговорища. Барселонская проза»*, должен добавить свои воспоминания о встречах с ним, по большей части в ежегодно собиравшейся моим другом Е.М. Тепером компании испанистов и нескольких к ним примкнувших. Однажды Д.П. Прицкер не меньше часа пел под гитару испанские песни. Все зачарованно слушали. Кончив, он извинился перед дамами: приличных песен, извините, не знаю. В другой раз рассказал, что во время эвакуации наших из Испании в 1938 г. его заботам как переводчика и не только как переводчика был поручен человек, представившийся одесситом Левиным. По словам Д.П. Прицкера, он с молодежным максимализмом принялся выискивать погрешности своего спутника в испанском, русском и даже итальянском. Тот покорно со всем соглашался, объясняя дело особенностями одесской речи, а когда приплыли к южному побережью Франции, поступила команда обеспечить благополучную высадку Левина, оказавшегося Пальмиро Тольятти. Я не могу не согласиться с Е.Г. Эткиндром в том, что трудно представить себе более блестящего и эффективного дипломата, чем был бы в этой роли Д.П. Прицкер.

цовский, упоминавшийся уже Э.М. Павлов. Ректор школы Б.Г. Андреев, по моим впечатлениям, человек очень умный и опытный, смотрел на это сквозь пальцы, если не покровительственно: определенная степень разговорной свободы была необходима для эффективности преподавания. Не исключаю, что он имел на это и более высокое соизволение.

Придя на заседание, посвященное II съезду РСДРП, я по неопытности прозевал места в задних рядах и оказался в одном из передних прямо напротив трибуны рядом с внушительного вида мужчиной. Хотя докладчиком должна была стать наша коллега В.А. Нардова, началось дело с речи одного из секретарей обкома. По-видимому, я тут же задремал и проснулся от удара в бок. Убедившись, что это не покушение на мою жизнь, а только побудка, я принялся благодарить своего соседа, говоря, что он мой спаситель и благодетель. А он оказался ироничным человеком и высокопрофессиональным участником партийных мероприятий. Не поворачиваясь ко мне, продолжая «есть глазами» президиум, он тихо, но внятно проговорил: *«Не стоит благодарности, это долг товарища. Если бы Вы безхрена, я бы не стал...»*. А когда мы расходились, на школьной доске почета я увидел портрет моего соседа, заведующего кафедрой партийного и советского строительства. Он был действительно знатоком предмета, преподавая дисциплину, учебников по которой я никогда не видел.

Осмыслив сейчас этот эпизод и ему подобные, я пришел к выводу, что довел свое писание до тех исторических времен, когда частные разговоры историков, как и других наших сограждан, если и не потеряли своего прежнего значения, то приобрели его в новых формах. Изменилось и их содержание. Поэтому я вспомнил еще один эпизод, относящийся, вероятно, к 1960-м годам. Б.В. Ананьич и его жена Нина Ивановна собрали у себя большую компанию, в которой после нескольких тостов возник вопрос о том, какое слово было последним в *«Кратком курсе истории ВКП(б)»*. После некоторого всеобщего замешательства моя жена про-

изнесла это слово: «*Конец*». Пора и мне его употребить. Но я вместо этого перед тем, как остановиться, приведу стихотворение, которое только что прочитал:

Подлинность истории —
Не в бумажной каше,
Красящей прошедшее
Контурно и **бледно**,
Подлинность истории —
Смех и слезы наши,
Тающие в воздухе
Быстро и **бесследно**.⁸⁷

⁸⁷ Губерман И. **Гарики** из Атлантиды. Иерусалим, 2003. С. ИЗ.

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕМ ОТЦЕ - Ш.И. ГАНЕЛИНЕ*

Постоянная привязанность к одному и тому же учебному заведению часто отмечается в профессорских биографиях. Но жизнь моего отца, специалиста по педагогике и ее истории, — возможно, я ошибаюсь, но не могу отказаться от убежденности в этом, — была бы просто бессмысленна без Пединститута им. А.И. Герцена. Главный идеал его молодости составляло просветительство. Он родился в 1894 г. и рос в еврейской патриархальной семье, мать его происходила из знаменитой раввинской династии Шнеерсонов, а отец, такой знатностью происхождения не отличавшийся, был раввином сначала в белорусском местечке **Копысь**, а затем в Полоцке. Мой отец обладал серьезной подготовкой в области еврейской филологии и истории, в 1920—1924 гг. в числе мест его преподавания в Петрограде (Военно-политический институт им. Толмачева, Военно-морские политические курсы, Областная совпартшкола, **Педтехникум** им. Некрасова) был и Институт высших еврейских знаний. Он

* См.: *Шукина Г.И., Зенченко Н.С.* Ш.И. Ганелин и его деятельность как ученого и педагога // Ш.И. Ганелин (1894—1974). **Библиографический** указатель. М., 1987. С. 4—15; Литература о деятельности Ш.И. Ганелина // Там же, С. 34—35. Отсылая читателя к этим профессионально-научным статьям, автор вполне сознает субъективность и легковесность настоящего очерка.

написал тогда пособие по истории педагогики на еврейском языке, оставшееся неизданным. Но интерес к русской образованности и культуре был таким сильным и ранним, что тринадцати лет он покинул семью и начал учиться в **Вильне** в частной еврейской гимназии П.И. Кагана, зарабатывая уроками.

Поступив в 1915 г. на юридический факультет Петроградского университета, он проявил специальный интерес к психологической теории права, которую изучал под руководством профессора Л.И. **Петражицкого**. Это привело к необходимости углубленных и интенсивных занятий на историко-филологическом факультете по кафедрам философии, психологии и философской педагогики под руководством Н.О. Лосского, И.И. Лапшина, С.Л. Франка, Н.И. Кареева, И.М. Гревса и С.И. Гессена.

Учеба у этих людей всегда была для отца предметом гордости. Долгое время я считал, что он ограничивался рассказами об этом только мне, сопровождаемыми упреками в отсутствии у меня философской подготовки. Но обратившись к личным делам отца в архиве Института им. А.И. Герцена, я увидел, что он указывал эти фамилии во всех своих автобиографиях с 1924 по 1949 г., **хотя** Петражицкий, Лосский, Франк, Лапшин и Гессен были по тогдашним понятиям белоэмигрантами. «Подготовку в области марксизма получил в университетских **кружках**, группировавшихся в дореволюционные годы при кабинете политэкономии под руководством профессора В.В. **Святловского**», — добавил отец в автобиографии 1927 г. Соединение древнееврейской образованности с новой русской философией и еще не огосударствленным марксизмом было основой его общенаучной подготовки.

Став студентом, он в 1916 г. начал преподавание на Петроградских вечерних курсах для взрослых, существовавших при Обществе распространения просвещения среди евреев. Цель этой деятельности состояла в том, чтобы приобщить еврейские массы к светской культуре, трудовой и общественной жизни, преодолеть конфессиональные шоры и многолетние трудовые и бытовые ограничения, обусловленные

жизнью в черте оседлости. Прежде всего нужно было учить русскому языку людей, воспитанных в другой языковой среде. И он стал не только активным участником, но и идеологом этой работы, которую продолжил на родине.

После Октябрьской революции учиться в Петрограде из-за материальных трудностей не мог и, проучившись несколько месяцев на юридическом факультете Московского университета, где сдал экзамены по истории римского права И. Вульферту и по истории философии права П.А. Устрялову, вынужден был вернуться в Полоцк. Здесь он и стал просвещенцем, как это тогда называлось, и одновременно выступал в суде в качестве **правозаступника** (форма адвокатуры того времени). Вот как характеризовалась его работа в отмеченном ярким колоритом времени «удостоверении» 3 сентября 1920 г., с которым он вернулся в Петроград, чтобы поступить в Педагогическую академию (документ этот сохранился в ее фонде в Центральном гос. архиве Санкт-Петербурга). Направляя отца в Академию ввиду «полного отсутствия квалифицированных работников в области гуманитарно-исторических дисциплин», Отдел народного образования Полоцкого уезда свидетельствовал,

«что, состоя в течение 1919 и 1920 гг. школьным работником и заведующим подотделом просвещения национальных меньшинств Полоцкого уездного отдела народного **образования**, он принял самое деятельное участие в организации в городе Полоцке дошкольных **учреждений**, школ, школ-клубов и вечерних курсов для взрослых и все время был идейным руководителем этого **дела**, принимал деятельное участие в профессиональном движении работников просвещения и социалистической культуры. В своей работе т. **Ганелин** проявил себя как хороший организатор, знающий рабочую массу и долго работавший среди нее, как выдающийся работник в области внешкольного образования, как сторонник просветительской политики Советской власти и Единой трудовой школы, над вопросами которой все время своего пребывания в г. Полоцке работал».

Мне представляется, что роль Педагогической академии в ранней истории духовной жизни послереволюционного

Петрограда нуждается в специальном изучении. За короткий период своего существования эта академия не успела испытать влияние только еще складывавшегося строгого социологического схематизма. В списке изучавшихся там отцом дисциплин, не лишенном поучительности и поныне, — педагогическая психология, организация и история народного образования, политическая экономия, педагогическая графика, всеобщая история, логика, психология, социология, основы, задачи и практика высшего образования, история и практика клубного дела, народные дома и дома просвещения, лекционное дело, работа с подростками, школы грамотности, театральное дело, методика всеобщей истории и история освободительных движений в России, гигиена, искусство речи, внешкольная работа с детьми, консультационно-справочное бюро по вопросам внешкольного образования и школьно-курсовая работа среди взрослых.

Ректором Академии был известный революционер и педагог **А.П. Пинкевич**, расстрелянный в 1937 г., социально-историческим отделением заведовал **А.Е. Кудрявцев**, оба они были и организаторами Института им. А.И. Герцена. Среди профессоров Академии, у которых учился отец, были видный экономист **А.И. Буковецкий**, с которым отец меня познакомил в университете незадолго до того, как он был арестован, и я, как и мои товарищи по работе, после его возвращения использовал его советы и рассказы, а также **А.А. Брянцев**, руководитель ленинградского Театра юного зрителя. Непосредственными учителями отца были **А.П. Пинкевич**, **В.С. Иоф** и снова **И.И. Лапшин**, у которого он успел прослушать в 1921 и 1922 гг., перед высылкой того за границу, курс истории педагогики в университете. По своему обыкновению отец, как и до революции, не ограничивался рамками учебного плана и, после лекций Лапшина в университете, в 1923—1924 гг. участвовал в работе психологического отдела Педологического института под руководством профессора **М.Я. Басова**. Первым среди своих учителей этих лет отец называл в своих автобиографиях **Я.Я. Гуревича**. Это был видный общественный деятель в области школьного дела

дореволюционной России, руководитель гимназии и реально-го училища, принадлежавших его семье. С 1893 ДО 1917 г. он работал в редакции журнала «Русская школа», а с 1906 г. был главным его редактором. Его активная деятельность в области школьных реформ в 1917 г. глубоко исследована в весьма значительной современной работе Н.Н. Смирнова об учительстве в революции. По отзывам знавших Я.Я. Гуревича людей, он во многом повлиял на своего племянника ИЛ. Андроникова и формирование его жанра устного рассказа, при этом был рассказчиком гораздо более талантливым и ярким.

Полагаю, что общение с ним и другими деятелями старой школы породило у отца на всю жизнь научный интерес и, я бы сказал, любовь к ней. Это привело к тому, что он уже в 20-е годы стал изучать ее наследство, несмотря на влиятельных и воинствующих ее противников, фактически разрушавших школу вообще. Б.Е. Райков рассказывал мне, что именно сопротивление этому разрушению стало причиной его ареста, который он приписывал влиянию А.В. Луначарского и Н.К. Крупской.

В Институте Герцена отец появился в 1922 г. Однако, я полагаю, что он с самого начала организации института был в курсе этого дела. Я никогда специально не изучал этого, но уверен, что оно не обошлось без З.И. Лилиной (Левиной), наркома просвещения Союза коммун Северной области, первой жены всесильного в Петрограде Г.Е. Зиновьева (брак их распался). По понятным причинам в старой литературе об институте ее имя не фигурирует, но упоминается как член **правления** и проректор ее брат Г.И. Левин, активный большевик, член Петербургского комитета в дореволюционное время, вышедший после революции из партии и работавший в Петропрофобре, а затем на кафедре педагогики Института им. Герцена, умерший в 1941 г. Он был женат на сестре моего отца.

Отец начал работу в институте лаборантом кабинета педагогики. Собственных воспоминаний о его работе в 20-е годы у меня, разумеется, быть не может, не запомнились и его рассказы об этом. Знаю только, что это было время, когда

он приступил к разработке дидактических принципов, продолженной в бо-е годы на основе опыта школы прошедших с тех пор десятилетий.

Но о том направлении, которое приняла работа отца с середины 30-х годов, некоторыми соображениями я хотел бы поделиться. Партийные решения о школе и преподавании истории, как бы к ним ни относиться, создали возможность систематического и последовательного изложения событий и фактов. Безраздельное господство социологического схематизма было подорвано, хотя и за счет внедрения его элементов в учебные курсы, а вместе с тем и в господствующую идеологию. Открылась возможность заниматься историей общества. И отец вместе с Е.Я. Голантом — их сотрудничество и соавторство стали нарицательными (я сам слышал: *«Вот идет Ганелин-Голант»*) — пишет учебник по истории педагогики для педучилищ, получивший широкое признание и распространение. Отличительной чертой книги был историзм, характерный для обеих ее частей — посвященной Западу, написанной Е.Я. Голантом, и русской, которую писал отец.

Для наших современников учебник — обыденное дело, тем более когда он один из нескольких. Иначе обстояло дело тогда, особенно применительно к гуманитарным дисциплинам. Учебник был единственным. Но и независимо от этого искусственного средства придания ему значительности учебник играл важную роль в духовной жизни общества. Для авторов работа над учебником носила исследовательский характер, была связана с научной разработкой различных тем и целых разделов курса. Именно так обстояло дело у отца. Он работал над исследованием по истории русской гимназии второй половины XIX в., всецело отдавшись своему давнему влечению. Эта работа послужила ему докторской диссертацией, защищенной в Москве в 1943 г., и выдержала два издания — в 1947 и 1954 гг.

Во время войны отец был заместителем директора Бийского учительского института на Алтае. Директором был А.К. Клементьев, психолог из Института Герцена. Там образовался очень квалифицированный коллектив местных,

московских и ленинградских преподавателей с тесными междисциплинарными связями. Интересно было бы узнать, сохранились ли какие-нибудь сведения об этом в современном Бийском пединституте. После докторской защиты отец был назначен в московский Институт дефектологии, вошедший в созданную в октябре 1943 г. АПН РСФСР.

Еще до окончания войны он вернулся в Институт Герцена, где проработал до самого конца. Я не могу, разумеется, судить о его исследовательской работе этих десятилетий, рассмотренной Г.И. Щукиной и Н.С. Зенченко, на статью которых я уже ссылался. Остановлюсь на том, что мы с сестрами видели и слышали повседневно. Речь идет об аспирантах и диссертантах, выполнивших свои диссертационные исследования под его руководством. К 1969 г. насчитывалось 37 его официальных подопечных. Но фактически их было гораздо больше. В течение нескольких десятилетий диссертационное дело было едва ли не главной формой научной работы при всех недостатках, которые в этом были. Отец руководил присланными в Институт Герцена людьми различных национальностей — от китайцев и монголов до литовцев и немцев. Во многих случаях требовалось не только научное руководство, но и ускоренное продолжение образовательной подготовки, в частности языковой. И как старый специалист по обучению взрослых он делал это с новым энтузиазмом. У нас в семье часто возникало сожаление по поводу того, что отец тратит на чужие работы так много времени в ущерб собственным. И это при том, что он работал каждый день с утра до вечера, отрываясь лишь для поездок на работу и иногда в филармонию. Но отец не только любил своих учеников, но очень ценил общение с ними. Таковую же черту я и мои университетские товарищи по историческому факультету наблюдали у наших учителей С.Н. Валка и Б.А. Романова, для которых самыми интересными были практические занятия на первом курсе.

На экзаменах он старался выяснить не столько знание вопросов билета, сколько собственное отношение студентов к ним. Часто расспрашивал о жизни на родине, в различ-

НЫХ районах страны, о студенческом быте. Объяснял экзаменационные неудачи недоеданием и посылал в буфет за бутербродами (об этом мне рассказала бывшая студентка дефектологического факультета, где он читал курс).

Долгое время он был единственным доктором наук по своей специальности, и поэтому ему приходилось часто выступать в качестве оппонента. Оппонирование и рецензирование диссертаций на кафедре занимали в его работе большое место. До сих пор не могу отдать себе отчет в том, прав ли он был, с такой серьезностью относясь к диссертациям и их защитам. Скорее всего, дело было в том, что люди его поколения — я встречал это не только у него — с одинаковым энтузиазмом выполняли любую работу. Уже тяжело больного я возил его на защиту в Ученый совет факультета психологии университета. Думал, что он прочитает свой отзыв и смирно сядет на место. А он выступил с большой дискуссионной речью, во время которой ни разу не появилась часто мучившая его тогда одышка. На обратном пути я стал читать ему нотацию. Он ответил, что один из членов ученого совета **В.Н. Мясищев**, известный медик и педагог, перед заседанием пожаловался ему: *«Без Вас скучно»*. А посетивший отца после этого видный военный врач, очень умный человек, выслушав мою жалобу, сказал: *«Молодец, боевой старик»*.

Сейчас я понимаю, что кое в чем он действительно был боевым человеком на протяжении всей своей жизни, не боясь отстаивать некоторые свои принципы даже тогда, когда это было опасно. Отнюдь не имею в виду того, что теперь обозначается с помощью формулы «внутреннее диссидентство». В возможностях творческого применения марксистского метода в исследовательской работе он, получивший общенаучную подготовку самого различного методологического характера, не сомневался, хотя многое, конечно, ему приходилось писать не так, как хотелось бы. Участие в создании советской образовательной системы считал своим жизненным делом. При этом он ясно понимал пороки партийного руководства просвещением и педагогической наукой. Запрет педологии, например, привел, по его словам, к тому,

что перестали изучать ребенка. Разумеется, сознавал — и не только задним умом — размах и характер репрессивной политики, хотя говорить об этом не любил — обстоятельство, характерное не только для него, благополучного советского профессора, но и для моего учителя Б.А. Романова, сидевшего по так называемому «*Академическому делу*».

Очень рано, вероятно, назидания ради, рассказал мне, как чуть ли еще не до моего рождения избежал вербовки в осведомители. Оставался беспартийным по принципиальным соображениям, имея близких друзей среди старых большевиков. На протяжении многих лет отец и географ профессор П.В. Гуревич были дружны с заместителем директора Института Герцена в 1932—1936 гг., а затем одним из партийных кураторов ленинградской школы А.А. Письменским и его женой Ф.М. Письменской. Считал, что нельзя быть членом партии при невозможности поддерживать во всем ее политику. По этой причине не одобрил моего вступления в партию в 1961 г. (*«да еще с твоим языком»*).

Теперь я приведу несколько рассказов отца, иллюстрирующих, как мне кажется, манеру его поведения в сложных обстоятельствах того времени.

После избрания в 1947 г. в члены-корреспонденты АПН РСФСР отцу было предложено вступить в партию вместе с Б.И. Коваленко, избранным также в члены-корреспонденты, и Б.Е. Райковым, действительным членом АПН. Уговаривая каждого, ссылались на согласие двоих других, уже якобы полученное. Они, однако, созвонились и определили истинное положение дела. Один глухой, второй слепой, рассуждал отец, за кого же принимают меня? (Б.Е. очень плохо слышал, а Б.И., известный тифлопедагог, был слеп.) Отца смущало, помимо прочего, то обстоятельство, что его ученик Н.Н. Петухов, возглавлявший тогда партком института (они оставались близкими друзьями до самого конца жизни отца), предложил ему рекомендацию. За советом отец обратился к старейшему профессору института В.А. Десницкому, близкому другу Ленина, вышедшему из партии в 1918 г. в знак протеста против красного террора. В ответ тот рас-

сказал, как в 1920 г., приехав в Москву и остановившись «у *Ульяновых*», он получил от них предложение вернуться в партию с рекомендацией Ленина и как он по настоянию Л.Б. Красина избежал этого. «*А Вы боитесь обидеть Петухова*», — заключил он свою речь. Отец, убедившись таким образом, что Н.Н. Петухов, получив его отказ, окажется в весьма почтенном обществе, устоял, как, впрочем, и оба других кандидата.

Года через два его, беспартийного, в разгар так называемого «ленинградского дела», пригласили в партком. Отец предстал перед комиссией, исключавшей из партии директора института Ф.Ф. Головачева. Как руководитель одной из крупнейших или даже крупнейшей в Куйбышевском районе организации тот входил в состав бюро райкома, а бывшая ранее первым секретарем Т.В. Закржевская, переведенная незадолго до того с повышением в ЦК, была арестована. Судьба Головачева была, разумеется, ясна, но комиссия «соблюдала приличия». Отца спросили о его отношении к директору. «*Вижу в нем свидетельство победы культурно-просветительной политики советской власти*», — заявил он как бы не к месту. Последовало предложение объяснить эту странную позицию. И он рассказал, что за много лет до того, придя проводить занятия, если не ошибаюсь, на рабфаке, застал группу деревенской молодежи, приехавшей в институт, причем некоторые были в лаптях. Заведующий предупредил отца, что многие из них учились грамоте в порядке ликбеза. После занятия один из новичков (кажется, это было их первое занятие) подошел к отцу и сказал, что не понимает его. Это был Ф.Ф. Головачев, обладавший гораздо лучшей, чем другие, подготовкой. Начались усиленные занятия.

А затем, продолжал отец свои показания перед партийной комиссией, Головачев стал историком, причем историком Запада, защитил диссертацию по истории Германии, используя многочисленные материалы на немецком языке. Завершил отец свой монолог риторическим вопросом: «*Если такого человека партия назначила моим ди-*

ректором, могу ли я считать это ее ошибкой?» Помню его слова о том, что один из членов комиссии, пожилой человек, кивал ему с одобрением. Однако пафос отца был оценен комиссией как беспринципность. И многострадальному Н.Н. Петухову пришлось заглаживать дело, как и тогда, когда на столе у первого секретаря обкома партии В.М. Андрианова оказался вышедший в 1949 г. ^{том} 84 «Ученых записок» института под редакцией отца и с его статьей-некрологом, посвященной его близкому другу Л.Е. Раскину, посмертно обвиненному в связях с эсерами в молодости.

Через год-два после этого появился у нас дома очень веселый, интеллигентный, светский, действительно приятный и обходительный немолодой диссертант из Грузии. Он шутил по поводу банкета, который устроит после защиты, обещая привезти бочонок легкого вина. Посмотрев диссертацию, отец отказался от оппонирования, сочтя работу слабой. Через некоторое время его вызвал новый директор Н.П. Киреев и сообщил, что в защите заинтересован Л.П. Берия. Своего решения отец не переменял, по-видимому, настоящего давления на него оказано не было, но ведь должно было хватить и намека, и я до сих пор не понимаю, как принципы научной этики превозмогли естественное чувство самосохранения.

Это была, впрочем, не единственная неприятность, которую отец, сам того не желая, доставил дирекции института. Однажды в эти же годы (1949–1950) была прислана отцу на отзыв из ВАКа защищенная в Москве докторская диссертация. Срок представления отзыва, указанный в сопроводительном письме, был для отца неудобен, и он ответил письмом о готовности **прислать** отзыв к более позднему сроку. Если для ВАКа такой срок оказался бы неприемлемым, он просил сообщить ему об этом для немедленного возвращения работы. Из ВАКа ничего не последовало, но пришло письмо с просьбой ускорить рецензирование от автора диссертации, которому в нарушение правил оказались известными не только сам рецензент, но и его переписка с ВАКом. А в институт пришла грозная правительст-

венная телеграмма по поводу поведения отца, подписанная А.В. Топчиевым, одним из самых влиятельных руководителей научной жизни страны, решительным, опытным и строгим администратором сталинской школы (не помню, был ли он тогда заместителем министра высшего образования или уже перешел в руководство АН СССР). Возражать ему считалось невозможным. Но отец составил объяснение с указанием на чрезмерную осведомленность автора диссертации и представления отзыва не ускорил.

Помню и противоположное — заключенный отцом компромисс в ситуации, которая теперь выглядит комичной, а в «застойное» время отнюдь таковой не была. Однажды, когда отец уже редко выходил из дома, позвонил по телефону лектор Общества по распространению политических и научных знаний с просьбой к нему обязательно прийти на заседание педагогической секции Общества. Лектор подлежал исключению из Общества, разумеется, с лишением заработка, за то, что он в лекции о дружбе, любви и товариществе в явном противоречии с чисто духовным и возвышенным характером официально утвержденной темы рекомендовал юношам начинать половую жизнь с женщинами постарше себя. Достав палкой из-под шкафа давно не надеванные галоши, отец, как в старину, отправился на ниву просветительства. Вернулся довольный собой и объявил нам: *«Поражение в правах на полгода. Совсем оправдать не удалось, хотя я сказал, что рекомендация дельная»*.

Задаваясь сейчас вопросом о мировоззрении отца и причинах его пристрастия к Институту Герцена, хотя с 1931 г. В течение многих лет он был связан и с Университетом, я прихожу к тому, что одновременная разработка фундаментальных наук и методики их преподавания, которая была основой деятельности института, отвечала отцовскому идеалу обязательного соединения науки с просветительством (в близкой мне области знаний блестящий пример такого сочетания являл собой В.Н. Бернадский, глубокий исследователь и непревзойденный эрудит). Приверженность отца к институту была близка к фанатизму. В последнем разговоре

со своим внуком — моим сыном — он попросил его: «*Обещай, что не пойдешь в артисты, а поступишь в герценовский*». Сын мой стал все-таки артистом, хотя занимается теперь и детским театром. Друг отца еврейский писатель Б.Л. Гальперин усматривал в этом раввинскую наследственность, проявившуюся через два поколения. Но отец и сам, хотя избегал артистизма в поведении, очень ценил силу воображения как свойство характера и средство общения. У малышей превыше всего ставил способность к игре и выдумку в ней, что же касается школьников, то всегда мечтал, чтобы учиться было не только интересно, но и весело.

Опубликовано: *Деятели русской науки XIX–XX вв.* СПб., 2000. Вып. 2. С. 247–260.

Р. Ш. ГАНЕЛИН

**Советские историки:
о чем они говорили между собой
Страницы воспоминаний о 1940-х–1970-х годах**

Редактор издательства *И.П. Палкина*

Оригинал-макет *ММ. Антонец*

Подписано к печати 16.10.2004. Формат 60х84 1/16
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Newton
Уч.-изд. л. 13,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 38.

Отпечатано в типографии СПБНИИ РАН «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
тел. 235-15-86, e-mail: nestor historia@list.ru